А. Яковлев

КЕРЖАЧКА

КЕРЖАЧКА

Милой-милой

Ираиде

Александровне

с уважением

и доверием

Альбеев

Июнь
67

А. Яковлев

КЕРЖАЧКА

повести

1967

Средне-Уральское
Книжное
Издательство
Свердловск

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Автор публикуемых в этом сборнике повестей «Кержачка» и «Весенние месяцы» известный свердловский писатель Альберт Сергеевич Яковлев родился в 1931 году на Урале, в городе Чусовом, в семье учителя.

Окончил в 1953 году факультет журналистики Уральского государственного университета, а затем Высшие литературные курсы при Союзе писателей в Москве. За последние годы издал ряд книг: сборник рассказов «Примите телеграмму» (1957 год), повесть «Кержачка» (1959 и 1962 годы), сборник рассказов «Мужество женщины» (1962 год), очерк «Оранжевый кристалл» (1965 год). В журнале «Урал» в 1965 году опубликовал повесть «Весенние месяцы».

О чем рассказывает писатель в своих повестях, вошедших в этот сборник?

...Не думала Тамара, что полюбит снова.

Когда полюбила в первый раз — было это года два назад — и вышла замуж за Павла Курасова, знакомые ребята и девчата были немало удивлены. Они как-то привыкли считать, что Тамаре с ее характером век вековать одной. Недаром Сима Тарабеева, симпатичная планировщица, только что приехавшая из Москвы, но успевшая уже подружиться с Павлом, не постеснялась прямо на свадьбе высказать ей:

— Ты злая, вредная, ты... кержачка! Ему будет плохо с тобой, я знаю!..

А может, и права была Сима?

О судьбе молодой женщины с трудным, «кержацким», характером, об истории, приключившейся с ней, тепло рассказывает автор. «Кержачка» — это повесть о любви и доверии, о трудной борьбе человека за свое счастье, неотделимое от счастья других людей.

Героиня повести проходит трудные жизненные испытания, но прирожденный ум ее, воля, а главное, крепкая рука мужа и товарищей по работе помогают ей достойно выйти из этих испытаний и вновь обрести душевный покой, радость жизни.

Одновременно с повестью «Кержачка», полюбившейся читателю и уже издававшейся ранее, в книгу включена новая повесть Альберта Яковлева «Весенние месяцы».

В этой повести снова проявилось дарование писателя, его знание жизни, мастерство.

Как жить дальше? — такой вопрос вынужден поставить перед собой молодой герой повести Максим Крыжов, переживающий трудное время в своей жизни. «Весенние месяцы» — в прямом значении переломное время в жизни Максима, время поиска, осмысления событий сегодняшнего дня, своих отношений с окружающими людьми,— старым рабочим Голдобиным, его дочерью Зоей, влюбленной в героя, незаурядной женщиной Станиславой, которой увлечен Максим, с товарищами по работе.

Максим настойчиво вырабатывает в себе характер коммуниста. Он не идет на сделку с совестью ни в общении с людьми, ни в отношении к труду, как бы обстоятельства ни вынуждали его к этому. Жить по-настоящему, честно и ярко, с максимальной пользой для людей — вот вывод, к которому после трудных поисков приходит Максим и которому решительно следует в дальнейшем.

Думается, что читатели с интересом прочтут обе эти повести.

Кержачка

I

Не думала Тамара, что полюбит снова...

Когда полюбила в первый раз — было это года два назад — и вышла замуж за Павла Курасова, знакомые ребята и девчата были немало удивлены. Они как-то привыкли считать, что Тамаре с ее характером век вековать одной... Недаром Сима Тарабеева, симпатичная планировщица, тогда только что приехавшая из Москвы, но успевшая уже подружиться с Павлом, не постеснялась прямо на свадьбе высказать ей:

— Ты злая, вредная, ты... кержачка! Ему будет плохо с тобой, я знаю!..

В ответ Тамара назвала Симу дурой...

А может, и права была Сима, как и те, другие, кто тоже когда-то не любил девушку за ее отшельничество, угрюмый и неуступчивый характер. Сначала в ремесленном, а потом и в цехе прозвали ее «кержачкой». Главным образом, конечно, за характер. Но отчасти и за то, что была она с окраинной Чуртанки, где жители преимущественно коренные, уральские... Родились и выросли они в избах на два-три окошка. Пышные тополя и гибкая черемуха в палисадниках высажены их руками, глинистая земля в обширных огородах ожила и стала плодородить их стараниями. В городе, за последнее время сказочно разросшемся и похорошевшем,— там живут в основном те, кого забросила на Урал горячая волна первых пятилеток, эвакуация и послевоенные комсомольские призывы,— чуртанских также называют «кержаками». Не потому, что они приверженцы старой, «кержацкой» веры — и с новой-то они без сожаления расстались с полвека назад,— а потому, что более живучи там привычки, вместе с семенами редиски и укропа посеянные на глинистой чуртанской земле дедами и прадедами.

На «кержачку» Тамара не обижалась. Не так уж плохо быть коренной уралкой!.. Она бы, например, ни на что не променяла эти кудлатые лесистые горы, начинавшие шагать к синим небесам прямо от самой Чуртанки, эти белые, быстротечные речки, вроде родной Каменки... Обижало, когда кое-кто прыткий вкладывал в это слово иной смысл: «А-а, дубы! Соображать не могут!..»

Против этого в Тамаре все восставало. Еще деды чуртанские «могли соображать». В городском музее и сейчас хранятся диковинные железные узлы, хитроумно завязанные ими. Взяли, кажется, громадный тюбик, выдавили из него необыкновенную металлическую пасту,

и она застыла в удивительных зигзагах иа века. И никто до сих пор не разгадал секрет этих узлов...

А сама Тамара? Оиа только шлифовщица, простая работиица на большом заводе, ио и ей, видать, передалось по наследству кое-что от дедовского умельства... Вот уже полгода, как в том же городском музее, только в другом зале, висит ее небольшой портрет. Посмотришь: иичего особениого!.. Похожа иа татарку: широкие скулы, узенькие глаза... Правда, волосы светлые, по-взрослому собраны иа затылке в узел. Строгий тяжеловатый подбородок и короткие брови, тоже сдвинутые строго.

Не очень ласковый к людям характер. Был, по крайней мере... До встречи с Павлом? Да. Нет, пожалуй, только сейчас... Сейчас на сердце вдруг необыкиовенно легко и светло. Малеиькое оно, а втяиулся в него весь мир: и он, и сыи Юрка, и все хорошие люди. И легкое оно! Может, как алый детский шарик, вырваться вдруг и улететь. Может, если иногда ие придержать ладошкой гулкую грудь...

Вот как бывает, когда полюбишь сиова.

II

А в первый раз было так.

Умерла мама. Стоял март, слепило глаза белым солнечным пламенем — Тамаре же казалось, что вокруг темио.

В доме и иа самом деле было темно: ставии прикрыты, с зеркал свисают стираиые половики... Темно и тихо. Даже старая Поздеиха, толстая и иеповоротливая, передвигалась по комиате бесшумио. Поздеиха хозяйиичала, помогала ей другая соседка, мешковатая тоикогубая

Фрося. Тамара не любила их, особеино сплетиицу Фросю, ио тогда ей все было безразличио и ни во что она ие вмешивалась.

Правда, одии-единственный раз вмешалась. В большой комиате, где стоял гроб, Тамара неожидаиио встретила... попа. Это был самый настоящий поп — седая грива иа плечах, черная риза и серебряиый крест иа цепи. Поголубевшие от слез Тамариины глаза изумлеино расширились. В следующее же мгиовеиие оиа уцепила служителя церкви за рукав и бесцеремоиио потащила его на крыльцо.

— Вас кто звал сюда? Кто? — Тамара ие могла сдержаться.— Уходите, уходите сейчас же!

Неожидаииый иатиск испугал попа. Он пробормотал что-то иасчет прихожаиок, христиаиских обязаииостей и заторопился одеваться. Разгоряченная Тамара осталась на улице, где в этот час обидно сияло праздиичное солице и звеиела весеиняя капель.

— Накинься, Тамара! Погода-то обмаичивая!..

Она было машиниально протяиула руку, ио кто-то уже набросил иа озябшие плечи телогрейку. Кто?

Рядом стоял пареиь, кореиастый, в солдатской гимнастерке без погон, слабый ветерок шевелил его волосы. Тамара видела его в цехе, ио фамилию и как зовут забыла. «Цехком прислал... утешать!» — с горечью подумала оиа и отвериулась. Телогрейка от резкого движеиня сползла, повисла иа одном плече. Пареиь поправил и... ие отпустил рук. Тамара разозлилась, хотела оттолкиуть, но ои опередил:

— Что ты, Тамара? Ведь не чужой я... Свой.

На широком лице пария иаписаио было искреииее сочувствие ее горю, горю товарища. «Свой!..» Или ветер иа этот раз ударил сильиее, или просто у ослабевшей Тамары закружилась голова, ио оиа качиулась, и ие-

сколько мгновений горячая щека ее покоилась на сильной груди парня. И странно, в эти несколько мгновений весенний разлив солнца и звонкая капель впервые не показались ей обидными...

В день похорон народу собралось порядочно. Покойную Александру Васильевну на Чуртанке знали многие, и многие пришли поклониться ей в последний раз.

Люди толпились в темных душных комнатах, во дворе, снова празднично сверкающем под солнцем, и даже за воротами. Тамару это нашествие знакомых и незнакомых раздражало: ей никого не хотелось видеть. Что бы она ни делала, куда бы ни шла — перед воспаленными глазами была мама... Не та, что в гробу — скорбная и чужая, вдруг заполнившая собой весь молчаливый дом, а та — маленькая и незаметная, привычной тенью встававшая за спиной рано осиротевшей дочери... Парня в солдатской гимнастерке Тамара увидела уже на кладбище, он стоял с лопатой в руках на краю свежевырытой могилы и с тем же неподдельным сочувствием глядел на девушку, раздавленную горем.

Потом он приходил к ней в опустевший дом. Раз или два — с Симой Тарабеевой, позднее — один. Она не звала его, но и не выгоняла: солнечный уют тесных комнатушек, где по-прежнему пахнет домоткаными половиками, свежим хлебом и еще чем-то с детства привычным и где все напоминает о маме, не приносил ей желанного успокоения. А Павел Курасов (так звали парня) помогал ей забыться.

Приходил он часто. Иногда, дождавшись девушку у проходной, провожал ее до дому. Вел себя очень сдержанно, разговаривал мало, засиживался недолго.

— Тебя, что, цехком обязал ко мне ходить? — съязвила однажды Тамара.

Он, конечно, уловил издевку: исподлобья, строго гля-

нул на девушку. Но ответил искренно, слегка покраснев при этом:

— Сначала комитет комсомола послал, а потом я сам...— И опять, набычившись: — Если надоел — скажи! Не буду ходить...

— Дело хозяйское!..

Постепенно Павел освоился. Стал засиживаться по вечерам, притащил как-то из общежития свой баян и долго наигрывал разные бодрые марши. Тамара слушала, слушала, потом сказала, поморщившись:

— Хватит! Ты бы песенку какую лучше...

— Про любовь разве?

— Можно.

Павел сыграл все песни, которые знал и в которых хоть немножко говорилось про любовь. «Черемуху» даже спел. Когда выводил, прильнув подбородком к раздутым мехам, печальные слова:

Мне не жа-аль, что я тобой покинута,
Жаль, что люди много говорят!..—

Тамара поддержала. Павел прислушался к ее неожиданно глубокому, грудному голосу, замолчал и незаметно завел песню снова. Она, раскрасневшись, пропела всю.

— Сильно! — восхитился Павел.— Ты бы, слушай, в хор шла, что ли? Голос-то какой пропадает, а!..

— Чего я там не видала?

— Серьезно говорю. Рано ты в старухи записалась. Ну, в хор не хочешь, в вокальный можешь — голос подходящий. А то в драмкружок...

— В дра-ам? Там только такие красавицы, как Женя Гопак... Куда уж нам!

— Не прибедняйся. Ты не хуже Гопачки!..

— Вон чего!

Жестковатые губы Тамары дрогнули в улыбке, она была польщена. Женя Гопак, действительно, очень при-

влекательна! Маленькая такая, черная и необыкновенно живая. В темных глазах ее — постоянная игра света; они то улыбаются обворожительно, то вдруг вспыхивают сердитыми искрами. И смуглое теплое лицо тоже не бывает застывшим. Женя прекрасно, с большим вкусом одевается. На это, конечно, нужны деньги, и Жене, скромному технологу из того же механического цеха, где работает Тамара, их не заработать. Зарабатывает муж — Иван Гопак. Он тоже рядовой работник, но большая умница — изобретатель... В заводском драмкружке — руководит им артист городского театра Орехов — Женя занимает положение «героини», успешно выступает в первых ролях...

Нет, далеко Тамаре до такой женщины! И нечего Курасову смеяться... Сдвинув на переносье короткие бровки, она отрезала:

— Ты не заливай мне... Агитатор!

Павел, не разгадавший девичьих переживаний в эту минуту, только озабоченно поерошил волосы на затылке:

— Ох, и серьезная ты девушка!

Впрочем, Тамара никогда не обижалась на частого гостя. А он — и подавно... Он был какой-то очень уж терпеливый: Тамарины колкости мало смущали его, и широкая добрая улыбка редко не светилась на темноватом от загара деревенском лице. Тамара быстро привыкла к нему, как привыкают к соседям, и даже не задумывалась: чего он ходит, и к чему это приведет? Так бы, наверно, и не задумалась, если бы не любопытная и вездесущая Фрося.

Фрося, подсмотревшая однажды через плетень, как Павел по-хозяйски расправляется с березовыми кряжами, а потом деловито прорывает в талом снегу канавки, оберегая двор от затопления, поинтересовалась у Тамары:

— Жених твой, али как?

— Ска-ажете, теть Фрося! Работаем вместе, вот и помогает.

И надо же было покраснеть Тамаре! Фрося, поджав сморщенные губы, еще подозрнтельнее глянула на девушку:

— Смотрн-н!.. Много их, охотннков до чужого-тс добра!

— Да не такой он, теть!..

— А ты знаешь? Чужа душа — потемкн! Вот н смотрн, не разевай роток-от, где не надо! А потом н себя пожалеть надо. Честная девушка ты, одинокая... А чужой мужчнна в дом к тебе ходнт. Куда же годится? И что людн скажут?

Даже мама, бывало, не поучала Тамару так, как эта старая чуртанская сорока... И Тамара не стерпела:

— Будет, тетя Фрося! Не маленькая я, сама знаю, что мне делать и как мне поступать. Будет!..

— О-ох, девонька-а! — завопила старуха.— Не почитаешь ты старшнх, не-ет! Даве батюшку прогнала, а теперь на добрых людей кндаешься! Жила бы мать, она бы!..

— Тетя! Не троньте маму. И я... И з-замолчнте! — Тамара зажала ладонямн ушн н — бегом нз кухнн.

После этой стычкн она прнзадумалась...

Не указ ей, конечно, Фрося, что н говорнт! Но ведь чуртанская она, своя... Может быть, в чем-то н права старуха? На самом деле, кто такой Павел? И что ему надо? За месяц знакомства — за этот тяжеленный месяц, когда голова Тамары черт-те чем забнта! — она, конечно, ничего толком не узнала о парне, который так упорно ходнт к ней. Знает, что родиной наш он, салдинский... Так. Но разве важно это? Знает, что работает на фрезере. Да нет же... Слесарь он! А на фрезер встал только

потому, что Петя Головин ушел в отпуск. Верно. А как он оказался в их цехе? Ведь еще совсем недавно его не было. Как? Да что там ломать голову!.. Ну его! Пусть идет, откуда пришел!..

Тамара спрыгнула с узенького подоконника, на котором, наверное, около часа вслух рассуждала, разгадывая темную личность Курасова. Голова у нее и в самом деле разболелась: пришла из ночи, поспать не дали... Не человек, одним словом,— чурка с глазами!.. Составив обернутые кружевной бумагой горшки с цветами обратно на подоконник, Тамара прошла в спаленку, за день сильно накаленную солнцем, и, скинув халат, с размаху бросилась в зазвеневшую всеми пружинами кровать.

Вечером, как всегда, пришел Курасов, эту неделю работавший в первую смену. Поднялся на скрипучее крылечко и... замер, изумленный: на двери висел громадный «купеческий» замок...

Впрочем, будь Павел более искушенным, он догадался бы, что замок этот только «для виду», что замкнут он без ключа и стоит его лишь тронуть пальцем, как дверь и вместе с нею девичья хитрость откроются. Не подумал взглянуть и на окошко, где за раскидистым фикусом ни жива ни мертва стояла Тамара, попросившая Фросю навесить замок.

Больше он не приходил. Не приходил потому, что назавтра в цехе Тамара призналась хмуро:

— А я вчера была дома и видела, как ты с замком целовался!..

III

В середине апреля дружно ударила весна. Снежные холмы, всю зиму плотно давившие на чуртанские крыши и цветочные клумбы в голубеньких палисадниках, исчез-

ли за несколько дней; на тесных высветленных улицах стало мокро и скользко, люди ходили пошатываясь, как пьяные; «вытаяли» ребятишки — бессчетная орава целыми днями галдела теперь под Тамариными окнами, даже на чуток не давая ей соснуть после утомительной ночной работы.

Апрель свалил на ее усталую от пережитого голову тысячи забот, и одна из этих трудных забот — очкастый старик Чекин.

Чекин был первым, с кем Тамара, придя на завод, познакомилась довольно близко. Он понравился ей: рослый, костистый, с виду угрюмый и строгий, а на поверку добрый и мягкий, такой мягкий, что, казалось, вечная ржавая щетина на его впалых щеках и та не может быть, как у других, колючей и жесткой... А главное — был он хороший мастер: токарил в цехе до того лет уже двадцать, чуть ли не с самого пуска предприятия; знал как свои пять пальцев все станки и операции, всех людей, работающих с ним, одним словом, все, что не знала, но должна была узнать Тамара. Она обрадовалась, когда поддержать ее на первых порах, «пошефствовать», взялся именно этот человек.

Помогал Чекин дельно. Он не опекал: всего три-четыре раза на дню подходил к новенькой; какое-то время круглые очки внимательно поблескивали рядом, потом он говорил:

— А ты не так, не так, подружка!.. Ты вот так! — ловко поправит жилистой рукой капризный резцодержатель и опять шагает в дальний угол, к своему станку.

Чекинская наука не прошла даром: за три года Тамара успела и в токарном деле, и других близких специальностях. Работала одно время на фрезерном, потом познакомилась со шлифовкой (тоньше работа, интереснее!), а недавно уговорили опять вернуться на «ДИП».

Когда стояла у фрезера, придумала приспособление. Простенькое, но экономившее много времени. За это Тамаре выдали вознаграждение. Кстати, оказалось, что шесть десятирублевых бумажек, аккуратно вложенных ею у кассы в паспорт, ничего не стоят в сравнении с тем, что пережила, работая над новинкой. Когда работала, будто на крыльях над землей поднялась,— такое редкое переживала состояние... И еще в те дни волновало сознание, что она — чуртанская девчонка, кержачка — годна на что-то и не просто лаптем щи хлебает, а помогает заводу.

За первым рационализаторским предложением последовало второе, затем третье...

Успехи ее стали замечать: нет-нет да и обмолвятся о «молодом передовике производства» на собрании, нет-нет да и упомянут в заводской многотиражке. В этой маленькой кусачей газетке появился у Тамары «свой» корреспондент — Пестерев. Сто́ит барашковой шапке Пестерева промелькнуть в цехе, как Тамара уже знает, что через день-два ее снова «пропечатают». Корреспондент редко задерживался у ее станка, но если уж задерживался, то надолго. В начале марта, например, он, наверное, минут сорок не давал Тамаре работать: со следовательской дотошностью, туго наморщив белый лоб, выпытывал «секреты», как он выразился, ее мастерства. Выпытать что-нибудь у Тамары оказалось довольно трудно, чуточку разговорилась она лишь после того, как Пестерев, увлекшись, разоткровенничался и начал читать свои новые стихи. Две строчки из стихотворения, написанного к женскому празднику, насмешили Тамару, и она запомнила их:

...наши женщиины активиые,
оии, как самолеты реактивные!..

С участнем молодого поэта н разгорелся у Тамары с Чекниым сыр-бор...

Ее давно уже уднвляло, как работает старик: ннкакого напряжения!.. Стонт, как нн посмотришь, у своего станка, посасывает тонеиькую, в гвоздок, папнроску, мечтает... Время от временн вытяиет корнчневую с острым кадыком шею, клюнется к суппорту н — опять спокоеи. А в результате — выше показателя нет.

Тамара, конечно, поинмала: опыт... Двадцать лет н ее трн года ие сравнишь! Но все же было обндно: оиа бьется, бьется, частеиько соленый пот залнвает глаза, старенькнй «днпнк» постояиио барахлнт — прнходнтся вызывать иаладчнка, пария леннвого, о какнх говорят: «Робнть не разбежнтся»,— а Чекии на смеие будто чаек попнвает... Тамара прн внде его уже раздражалась, не казался ои ей теперь мнлым н безобидиым, как на первом году; вндела она в нем неприятного, жадного человека, который владеет миогим, а другнм уступнть ннчего не хочет. Старнк н на самом деле в последнее время уже не подходил к девушке, ие помогал. Она объясиила это просто. «Деньги ему за учеиье иынче ие платят, вот н не подходнт!..»

И все же тянуло Тамару к Чекииу, хотелось, как ои, хоть с месяц да поверховоднть иа участке, а кроме того, и подзаработать. Спрашнвать совета у него самого она ие захотела: достаточно наспрашивалась, когда в учениках ходила, простые наблюдеиня со стороны тоже иичего не далн... Впрочем, нет! Далн. Наблюдая однажды, как Чекии ловко переналажнвает свой новеиький, поблескнвающнй свежей стальной краской стаиок, оиа догадалась кое о чем! И нмеиио этот случай иатолкнул ее на мысль, впоследствии нспользованную корреспоидентом Пестеревым.

Весь март Пестерев ие заходнл в цех. Барашковая

шапка промелькнула во втором пролете механческого только в апреле.

— Здравствуйте, товарищ Антипииа!

Тамара молча кивиула и отвернулась, усилеиио поджнмая губы: ее смешило, что корреспондеит так официалеи с ней — оии ведь, похоже, одиогодки!.. Вероятио, Пестерев и не журиалист пока, а практикаит, вои как он смущается: троиутые пушком иежиые щекн порозовели, продолговатые сиине глаза с длиниыми девичьимн ресиицами поглядывают куда-то в стороиу, а тонкие «нерабочие» пальцы нервио теребят меховой отворот ладненькой борчатки. Серднтым движеинем засуиул под шапку светлый мальчишескнй вихор и очеиь сердито сказал:

— Зиаете, товарнщ Антипииа: статья об опыте вашей работы в газете не будет иапечатаиа. Наш редактор возражает...

— Почему? — нскреиие удивилась Тамара. Она ие ждала никакой специальиой статьн о себе, и если такая статья уже напнсана, ио ее почему-то ие иапечатали, то это ее мало огорчило. Огорчаться должен вот этот самый пареиек, который, иавериое, ие час и не полтора мозолил в пальцах перо, сидя над статьей. Ее только интересовало, почему «возражает» редактор...

— Как вам сказать...— замялся Пестерев.— Редактор возражает... Он говорнт, что у вас мало иовых приемов и что статья поэтому ие будет поучительиой. А я считаю иевериым это. Я считаю, что сам вииоват: иадо было побольше побеседовать и...

Тамара иетерпеливо махнула мягкой ветошкой, которой протирала облнтые эмульсией пальцы.

— Понятно! Ваш редактор, видать, соображает... Соображает, говорю! Вы лучше... к Чекину обратитесь, я советую. Вот у кого опыт!.. Или, погодите...

Тамара раздумывала: поговорить с парнем насчет того, что не давало ей все время покоя, или не стоит?.. Говорить-то некогда: в ногах у девушки почти непочатая груда шершавых заготовок — одна, с голубой окалинкой на боку, так и смотрит на нее... Да и не сумеет он, пожалуй, пацан еще!.. Хотя ладно!

— У меня к вам разговор серьезный есть. Ну, тема, что ли...

— Тема? — весь просиял Пестерев.

— Только, пожалуйста, встретимся в перерыв. Сейчас, видите, очень-очень некогда!..

В обеденный перерыв они встретились в голом сквере неподалеку от цеха и, устроившись на согретой солнцем чугунной скамейке, долго говорили. А в следующий вторник, проходя утром мимо табельной, Тамара удивилась шумной толкучке возле стенда, где обычно наклеивали городскую газету. «Опять про нас что-нибудь!» — подумала она: ей и в голову не пришло, что это та самая статья,— не очень-то верилось в способности синеглазого журналиста. Она бы так и не подошла, если бы не Иван Евгеньевич Гопак.

Гопак, вероятно, заходил к жене, работавшей в механическом, и тоже заинтересовался газетой. Тамара сразу узнала его в толпе по грузноватой осанке и слегка взлохмаченной посеребренной шевелюре. Приблизившись к стенду, она услышала, как Иван Евгеньевич, уже уходя, сказал кому-то рядом:

— Дела-а у вас!.. А кто это Антипина? Ну-ну, знаю!

Большая, в треть газетной страницы, статья была мелконько подписана: «А. Пестерев». Тамара улыбнулась, подумав, какое, наверное, счастливое лицо было сегодня у парня, когда он развернул газету, но тут же, встревоженная словами Гопака, нахмурилась и принялась за чтение. «Рядом с новатором...» (Хорошее назва-

ние, хотя немножко и непонятно!..) Понравилось и начало, где было красиво сказано, что молодежь — надежда и будущее нашего великого народа. И дальше — тоже хорошо. Дальше было написано, что молодежь требует к себе внимания и ей нужно помогать. Пестерев ратовал за то, чтобы молодым рабочим создавали на производстве отличные условия: не боялись доверить им новое оборудование, новый инструмент и выполнение сложных заказов. Он отмечал, что, к сожалению, так делается не везде. И с этого места в статье говорилось о машиностроительном заводе и о цехе, где работает Тамара. Упоминались знакомые фамилии, больше начальства... И тоже все правильно. Вот и...

Сердце девушки замерло, а озябшие пальцы невольно и крепко уцепились за крашеную планку, прибитую снизу к стенду. Она читала:

«В цехе существует такой порядок: одним — все, другим — ничего. Исключительное положение, например, занимает токарь С. Чекин. Ему предоставлен прекрасный станок, заказы даются только выгодные. С. Чекин обрабатывает те детали, которые хорошо оплачиваются. Не случайно его заработок самый высокий на участке.

В диаметрально противоположные условия поставлена молодая работница, выпускница ремесленного училища Т. Антипина. Она рассказывает...»

— Ну, Антипина дае-ет! — с издевочкой произнес кто-то за Тамариной спиной.— Уж до газеты дошла!

Тамара даже не обернулась. Она внимательно дочитала статью до конца и выбралась из толпы. «Что ж, Пестерев — молодец! Хорошо написал...» Ей было радостно, но и почему-то тревожно. Почему? Может быть, потому, что пока она независимо и молча стояла возле инструменталки, дожидаясь своей очереди, и позднее, когда с гордо поднятой головой проходила по цеху, не-

сколько раз ловила на себе странные взгляды: не поймешь — или сочувствовали ей, или удивлялись, или еще что-то.

Немного совестно было ей встречаться с Чекиным. «Обидится старик,— думала она.— Обидится... Хотя что? В газете правда написана!» Несколько раз она украдкой поглядывала туда, где обычно работал Чекин. Его не было. «Куда делся? Или заболел?..» Тамара боялась признаться себе, что ей страшновато теперь показаться ему на глаза: мало ли что!

Встретиться пришлось скоро. Примерно через час, как Тамара заступила на смену, ее неожиданно позвали в партийное бюро. «Почему в партбюро? — терялась она в догадках.— Я не партийная, даже не комсомолка еще!..» Но раздумывать было некогда и, торопливо ополоснув грязные руки в душевой, она взбежала по широкой скрипучей лестнице на второй этаж.

В просторной прибранной комнате ее ждали секретарь цехового партийного бюро Поставничев, Чекин и... Павел Курасов. Поставничев сидел на своем месте за письменным столом (позади красноватый облупленный сейф с непомерно большой скобой) и что-то аккуратно подчеркивал в развернутой перед ним газете. Чекин нахохлился за другим столом — длинным, приставленным торцом к столу секретаря; покрыт был этот длинный стол вместо скатерти старыми полотняными плакатами, аршинные меловые буквы слабо проступали с обратной стороны... Чекин явно нервничал: костлявый его палец с надломленным траурным ногтем методично пощелкивал по звонкому пустому графину; когда вошла Тамара, он с усилием поднял недовольное, сегодня почему-то еще гуще заросшее лицо, и посмотрел на нее через круглые очки такими несчастными глазами, что девушке стало уж совсем не по себе.

«Чекин здесь — это понятно... А вот зачем Павел? Ушел бы лучше, стоит как...»

Павел не уходил и, видимо, не думал уходить. Он стоял спокойный и улыбающийся у окна, за которым время от времени с хрустом ломались сосульки, и выжидающе поглядывал то на Поставничева, то на Чекина. На Тамару он не смотрел.

— Садись, Антипина! — Поставничев кивнул на стул у окна, где стоял Павел. Не успела Тамара сесть, как он, привычно продернув ладонь по лицу,— точно смыл усталость,— заговорил о деле.

— Статья, конечно, интересная... Но обсуждать мы ее сейчас не будем — сначала этим бюро займется. А вот предложение товарища Чекина и ответ товарища Антипиной,— секретарь бюро весело подмигнул девушке,— послушаем. Давай, Чекин!.. Да сиди, сиди!..

Старик все же упрямо поднялся и, опершись о край стола длинными руками,— видимо, унимал нервную дрожь,— хрипло сказал:

— Во-первых, вот что!.. Незаслуженно описали обо мне в газете. Двадцать два годика, без малого я...

— Ладно, ладно, Семен Андреевич! — ласково вмешался Поставничев.— Я же сказал, что разберемся!..

Чекин осекся, замолчал. На какое-то мгновение Тамаре стало жутко, она сразу забыла и о притихшем рядом Курасове и о Поставничеве, точно вдвоем они остались с застывшим от внутренней боли стариком...

Чекин откашлялся в костистый коричневый кулак и продолжал уже тверже:

— Во-вторых, значит... Предложение мое будет такое: раз ты, товарищ Антипина,— старик повысил голос и грозно обернулся к Тамаре,— жалуешься на станок и прочее, то бери мой «ДИП», делай, если начальство дозволит, и мои детали... Ясно? Докажи, значит!..

Старик шумно сел, а у Тамары, потрясенной неожиданным оборотом дела, вырвалось:

— Так я же не за этим, Семен Андреевич, корреспонденту рассказывала! Работайте на здоровье на своем станке,— что он мне!..

— А я советую тебе согласиться, Антипина! — опять вмешался Поставничев.— Правильно Семен Андреевич говорит: «Докажи!» Вот ты и докажи...

Тамара не знала, что и сказать. Страдая, бессознательно ища поддержки, подняла она невидящие глаза на Павла. Поставничев заметил это движение и, выйдя из-за стола, бережно взял ее за рукав:

— Да ты не бойся, чудная! В помощь тебе мы даем этого орла,— он кивнул на Курасова.— Павел все станки знает — из сотого корпуса на укрепление прислан! Он у тебя за наладчика будет.

— Не надо. Не надо мне никого. Сама я!..

Закусив губу и с силой засунув потные кулачки в тесные карманы ватника, Тамара почти бегом устремилась к двери. Уже за порогом услышала она насмешливое, брошенное Поставничевым:

— Хар-рактерец!..

IV

«Не надо!» — ответила Тамара Поставничеву.

Неправда.

Павел нужен был ей. И нужен был не только в цехе, чтобы спастись от грядущего позора,— работа на непонятном чекинском станке никак не ладилась,— а везде и всегда. Она с ужасом поняла это еще в тот самый вечер, когда насмешливо покаявшись в своей проделке, все же ждала его дома, перебегая от окна к окну и замирая при каждом стуке калитки.

Павел не пришел. Не приходил он и в другие вечера, тоскливые, тихие, когда только и слышно, как сопит в распечатанных к лету оконных рамах сырой ветер да старчески покряхтывают, оседая, древние стены. В эти вечера чудилось иногда Тамаре, что вытаивают из ледяной тишины то полузабытый бас отца, то скрип половиц под легкими шагами матери, то еще какие-то звуки, остро напоминающие о счастливом времени и о людях, родных и светлых..

«С ума схожу, дура!» — сердилась она, но поделать с собой ничего не могла. Пробовала читать — быстро забывала о раскрытой на коленках книге, бралась за полувышитого медвежонка — иголка больно колола рассеянные пальцы... Редко-редко уходила в кино, в театр же ни разу...

И вдруг... Нет, «вдруг» пришло позднее. Поначалу события развивались относительно спокойно. Просто однажды, таким же вот тихим вечером, Павел снова забрел на Чуртанку. Распахнув калитку, он приостановился, опасливо взглянул на крылечко, где в прошлый раз «целовался» с замком, и только потом уж, с нарочитым спокойствием насвистывая, зашагал по двору.

Тамара увидела его из окна. «Прише-ел!» — выдохнулось у нее удивленно и до жути радостно. Сразу, в какое-то пустяшное мгновение, слетели и черная тоска, и разные мысли о виденьях-привиденьях, и все тревоги...

Павел поздоровался хмуро, чувствовалось, что он весь напряжен и готов ко всякой встрече. Но вот он вгляделся в бледное тихое лицо девушки, устало из полумрака сенцев улыбавшейся ему, и тоже облегченно расправил натертые невидимым грузом плечи.

— Я зашел к тебе, Тамара, чтобы...

— Что?.. Да идем, идем!

Тамара, сама не своя, взяла Павла за жесткий рукав

гимнастерки, повела из комнаты. Там, на свету, она зачем-то остановилась, оглядела его, немножко растерянного, с ног до головы, зачем-то рассмеялась и, не отпуская гимнастерку, сказала с ласковой укоризной:

— Ты бы раньше пришел, а?.. Я ведь... ждала!

— Так ты же сама!..

Она не слушала, не хотела слушать...

— И баян бы взял...

— Баян-то для чего?

— Играл бы!

— Сыграю еще...

Павел мужиковато взял девушку за плечи, встряхнул:

— Что с тобой, Томка? Не узнаю я...

Тамара не ответила: не было сил отвечать... Ослабевшие руки ее упали на мускулистые сгибы локтей Павла, короткие в заусеницах пальцы нервно защипали жесткую ткань, и вся она, нестрогая и покорная, в каком-то ожидании стояла перед парнем, сразу, наоборот, выросшим и в какой-то миг инстинктивно осознавшим свою мужскую силу.

— Эх ты... кержачка! — глухо засмеялся он и нашел прохладными упругими губами ее губы.

V

Влюбленным всегда хорошо. Тамаре и Павлу тоже было хорошо. Май и начало лета работали они в одну смену, в итоге получалось так, что все, что бы они ни делали,— все вместе. И по дороге с завода вместе, и в кино, и на собраниях, и праздники — все вместе...

Мы с Тамарой ходим парой,
Мы с Тамарой...

вспоминал Павел стихи, слышанные в детстве, и где-нибудь в тени белой черемухи неуклюже обнимал подружку. Она отбивалась сначала, колотила по широкой спине крепкими кулаками, парень морщился от боли, но не сдавался, не выпускал из рук своего сокровища.

— Тебе, что, не нравятся стихи? Твои лучше?

Павел лохматил мягкие густые волосы и заунывно, подражая кому-то, читал:

Ну и что ж, и не надо!
Буду жить не любя,
Просто так: без отрады...
Эх, забыть бы тебя!

— Павлик, перестань!

— Н-нет уж. Слушай дальше! — и Павел до конца декламировал нелепое Тамарино сочинение, которое писалось после одной столь же нелепой, но и, правда, кратковременной, как все майские грозы, ссоры, и писалось на кухне, где девушка потихоньку от всего света выплакивала свою обиду. Впрочем, кержачка Тамара все свои обиды выплакивала потихоньку и так же писала все свои стихи. Стихи — сочинялись они в редкие минуты, когда вдруг вспыхивает сердце и нельзя уж не думать ни о чем другом, ни делать ничего...— складывались на верх черного резного посудника, и пока только Павел, как-то помогавший подружке убираться к празднику, обнаружил и листал заветную тетрадь.

В цехе они были тоже вместе, хотя и работали на разных участках. Участки их расположены были так близко, что если Тамара потянется к инструментальному шкафчику и при этом повернет голову чуть влево, то обязательно увидит Павла. Он стоит за масляно поблескивающим станком и так старается, что на вылинявшей гимнастерке под лопатками проступают мокрые пятна.

Лица его Тамара не видит, и ей очень хочется, чтобы он оглянулся. Услышав где-то, что люди на расстоянии могут чувствовать взгляд, она долго, не мигая, всматривается в темное пятно на гимнастерке и мысленно приказывает: «Обернись, обернись!» Нет, Павел не замечает, не оглядывается. «Это потому, что я блондинка,— огорчается она,— гипнотизировать могут только черные!..»

Девушка снова принимается за работу и через минуту, как и Павел, забывает обо всем. Перед глазами — тусклый и мокрый торец детали, неохотно въедающийся в него острый зуб резца... И больше ничего, никого — ни Павла, ни очкастого старика Чекина, всучившего ей в отместку неподатливый станок, ни насмешника Игоря Переметова, ни даже Симки Тарабеевой — пушистокосой москвички, о существовании которой после знакомства с Павлом Тамара, кажется, никогда не забывает...

Короткая передышка. Станок Тамары умолкает, и сразу врывается окружающая жизнь — шум соседних станков, редкие человеческие голоса, гул громадного закопченного вентилятора. Но это ненадолго, потому что Тамара в последние дни уже научилась быстро, без прежних хлопот, сменять деталь. И снова работа, снова. А изредка — Павел, его широкая старательная спина.

Однажды — было это уже в конце июня,— потянувшись к шкафчику и по привычке взглянув в сторону Павла, Тамара не увидела его. Через некоторое время посмотрела еще раз — опять нет. «Куда запропастился?» — забеспокоилась она, но искать не пошла: цех, как всегда, в конце месяца штурмовал, и отлучаться было нельзя.

Павел появился уже после гудка — возбужденный, даже загорелая кожа, туго натянутая на скулах, посветлела. Издали кивнул Тамаре: «Пошли!..»

Цепкая человеческая толпа вынесла их на главный заводской проезд, сразу за проходной перерастающий в центральную улицу соцгорода — Ильича. Эта просторная улица, весь день пустующая, сейчас, через две-три минуты после гудка, вдруг ожила и стала тесной, по асфальтовым ее дорожкам, утыканным сбоку серыми от пыли деревьями, люди шли густо, как ходят сразу после демонстрации в праздники.

Захваченные потоком Тамара и Павел прошли мимо заводского Дворца культуры, распластавшего в зелени парка белые крылья-пристройки, миновали несколько больших красивых домов, во множестве народившихся в соцгороде после войны, и только здесь уже выбрались из толпы. Наконец-то можно было разговаривать!

— Ты, случаем, не на свидание убегал? Сияешь, как самовар!..

Павел вскинул чумазые брови:

— Какое свидание? А-а!.. Верно, с Симкой Тарабеевой по скверику гуляли!..

— Попробуй!.. Нет, правда, Павлик?

— Правду? К начальству вызывали. В Свердловск на курсы велят ехать... На два месяца.

— На два месяца?!

Тамара сникла, шла молча, с чрезмерным вниманием разглядывая чьи-то широкие следы на пыльной дороге, в то же время она чувствовала, как Павел, не поворачивая головы, пристально и, пожалуй, странно смотрит на нее. Потом он спросил неуверенно:

— А тебе, что... жалко будет, ежели уеду?

У Тамары на языке уже вертелось обычное задиристое «ни капельки!», но она сама, не зная почему, не смогла так ответить. Даже больше: она вдруг прижалась к пропотевшему плечу парня и, оглянувшись, коснулась губами небритой щеки...

— Жалко, Павлик. Я хочу, чтобы вместе мы... Понимаешь?

— Но ведь потом-то...

— И сейчас, и потом!

Больше оии ие говорили, шли молча, и шли даже не под руку, как обычио, а просто так, рядом. Тамара иевольио в ход разжигающимся мыслям все убыстряла и убыстряла шаги, пока ие поравиялась с общежитием Павла и он ие придержал ее:

— Ты погоди, Томка. Я мигом, только переодеиусь!..

— Нет! Все равио иикуда ие пойдем сегодия... Проводи меия!

Тамара сегодия ие просила, не убеждала — она повелевала. Оиа уже прииял про себя какое-то важное, очеиь важиое для ее девичьей жизии решеиие и созиательио следовала ему. Не оттого ли еще резче обозначился ее упрямый подбородок, а серые глаза смотрели так строго? Павел не мог возражать ей.

По-прежиему молча добрели оии до Чуртаики, голубые, желтые, зелеиые иаличники и палисадиики которой еще пестрее расцветали иа вечерием солице, преображая ее, делая даже иарядиой. Прошли два-три узких переулка — деревеиская тишииа их иарушалась радиомаршами да ленивыми вскриками пасущихся на полянках гусей — и были дома.

— Побудь во дворе, Павлик! Я приберу там...

— Да ты хоть умыться дай! — Павел вывериул, показывая девушке, перемазанные ладоии.

Пока Курасов громыхал жестяным рукомойииком, прилажеиным иа лето к бревенчатой стеие сарая, Тамара успела иавести кое-какой блеск в своих обеих комнатушках, поставить иа электроплитку пузатый чайник. Выгляиув в окио и увидев, как Павел иеохотио иатягивает иа чистое и снльиое, едва скрытое куцей майкой

тело промасленную гимнастерку, она бросилась к комоду.

— На, надень,— минуту спустя приказала она, подавая ему белоснежную, вышитую по вороту сорочку.

Голос девушки чуть дрогнул: она отдавала Павлу одну из тех — святая святых! — вещей, что остались после убитого в войну отца. Он понял это и на какой-то миг благодарно и ласково сжал Тамарины пальцы.

В этот вечер многое было не так, как обычно. Ужинали не в комнате, а на кухне — по-семейному. Раньше, если Павел приносил вино, Тамара даже не позволяла распечатать бутылку, сейчас же сама достала из погреба наливку, приготовленную еще покойной мамой, и пригубила вместе с Павлом.

И даже после наливки разговаривали мало, только о поездке и только так: «А где курсы?» — «На Уралмаше, вроде...» — «Повышение квалификации?» — «Нет, мастеров ОТК!» — «Так ты же токарь!» — «Начальство решило в ОТК перевести!..»

Не вязался разговор. Оба ждали... Чего? И знали, и не знали. Все было ясно, и ничего не было ясно...

Крепким сном спала кержацкая Чуртанка, когда Павел решительно поднялся из-за стола и впервые за весь долгий вечер обнял девушку. В измученных и счастливых глазах ее, испуганно и радостно устремленных на парня, блеснули и потерялись в миг две крохотные чистые слезинки; такими слезинками, чистыми и беспечальными, надевая веснами нежно-зеленый свадебный наряд, проблескивает чудесная молодка береза...

— Только ты уйди потом... Я не хочу, чтоб соседи знали! — почти неслышно, но по-прежнему повелительно шепнула Тамара.

VI

Жадным до счастья делает человека любовь. Тамаре теперь всего было мало...

Раньше она бы, наверное, успокоилась на том, что утерла-таки нос Чекину: станок его, в конце концов, освоила и недосягаемую на первых порах норму вытягивала. А теперь нет... Теперь уж ей хотелось не просто наступить на пятки старику, а идти или вровень с ним или впереди. К этому же, казалось, толкал ее и Поставничев.

Всякий раз, встречаясь с девушкой в узком коридоре бытовки или шумном пролете, парторг щурил сероватые въедливые глаза, будто спрашивал: «Ну, а как дальше?..» Тамара поначалу тушевалась под этими прищурками, отворачивалась. Потом привыкла и как-то, даже совершенно неожиданно для себя, в ответ тоже хитро подмигнула Поставничеву.

— Ты чего? — удивленно хмыкнул он, затормозив уже возле следующей двери — с табличкой «техбюро».— А-а, понятно!..— Смеясь, вернулся к Тамаре и, прижавшись узкой сутуловатой спиной к грязной стене бытовки, нетерпеливо расспросил:

— Как дела? Освоила станок? Молодец! Хотя... Хотя рано тебя хвалить.

— А я и не прошу, чтобы хвалили. Откуда вы взяли?

— Ладно, ладно. Знаю, что не просишь. И все же, а?

— Что?

— Подумай. К сожалению, сейчас не могу с тобой — ждут! А вечерком можешь зайти: потолкуем...

Тамара хотела узнать, о чем предстоит «потолковать», но не успела: сухонькая фигурка Поставничева маячила уже в конце коридора, парторг, несмотря на хромоту,— ногу придавило болванкой в прессовом, где

работал лет пять назад,— передвигался удивительно быстро. Вечером, вспомнив о разговоре, она заглянула в партбюро, но Поставничева не было — вызвали в партком. Тамара решила зайти на следующий день, да так и не зашла: помешали обстоятельства, помешала другая встреча.

В тот день Тамара пришла на завод рано — не поспалось... Приняла смену, получила в кладовой инструмент и, хмурясь, стараясь наступать на ярко-желтые веселые лоскутья, отпечатанные солнцем там и тут — по всему промасленному торцовому полу, прошла к своему станку.

Только запустила первую деталь, как в цехе появился Гопак.

Неторопливо пронес он грузноватое свое тело по первому пролету, то и дело улыбаясь, кивая знакомым, кивнул и Тамаре,— они познакомились в БРИЗе,— и тоже улыбнулся ослепительно-чистой, «южной» улыбкой. Скрывшись ненадолго в бытовке, он вышел оттуда с Женей.

Тамара почему-то всегда была неравнодушна к этим людям. Они казались ей красивее других, умнее, интереснее и очень уж подходящими друг для друга. Гопак, конечно, не молод,— Женя моложе его лет на двенадцать,— и за последние год-два он чуть погрузнел, темные взвихренные волосы слегка прихватило инеем, но разве чувствуется между ними разница? Иван Евгеньевич по-прежнему бодр и жизнерадостен.

Тамара заметила в то утро, с каким удовольствием, даже с восторгом брался он за очень, казалось бы, скучное дело: освоение копировально-фрезерного станка, который на днях поставили в цехе. Он, наверное, минут пять ходил вокруг да около, ласково похлопывая ладонью по тускловатому корпусу и бросая Жене, как можно было догадаться, одобрительные реплики. Цыганские глаза

изобретателя-самоучки блестели, да и сам он в те минуты напоминал цыгана, завороженного красавцем конем.

Женя только посмеивалась, наблюдая за мужем. И в неслышном ее смехе проскальзывало что-то снисходительное, а может быть, казалось Тамаре, и обидное для Гопака...

Странная она, эта «Гопачка»! Женщины более привлекательной Тамара не встречала пока ни на заводе, ни на Чуртанке. Когда та по вечерам выходит на клубную сцену в роли какой-нибудь Липочки или Ани Березко и влажные зубки ее кокетливо-мило открываются зрителям, зал аплодирует только ей. Конечно, ее место там, на сцене... Недаром даже скромный синий халат, который Женя надевает в цехе, выглядит не просто спецовкой, а изящным театральным костюмом.

Не потому ли она немножко чужая всем, кто работает рядом с нею? «Белая ворона»,— говорит Павлик. Ну и что? Разве плохо, если человек талантлив и выделяется среди массы? Плохо? Нет. Женя — молодец! Она под стать своему мужу...

В то утро Женя недолго пробыла с Гопаком. Зевнув в ладошку раз-другой, она засобиралась куда-то. Случайно ее рассеянный взгляд встретился с Тамариным взглядом. Она приветливо издали махнула девушке и, будто вспомнив что-то, наклонилась к мужу. «Обо мне!» — догадалась Тамара, потому что Гопак, выслушав Женю, тоже взглянул на девушку и улыбнулся. Она вспыхнула и отвернулась.

Часа через полтора он сам подошел к ней. Подошел разгоряченный, в одной клетчатой ковбойке,— старая куртка его из желтой кожи давно уже была сброшена, валялась на «крыше» чекинского шкафчика; в ямке полного бритого подбородка посверкивали крошечные капельки пота.

— Здравствуй, Тамара! — широко улыбаясь, подал он девушке руку.— Давненько не видались с тобой... Как живем?

— Ничего, Иван Евгеньевич...

— Ничего — пустое место. Слыхал я: с Чекиным сражаешься... Так?

— Куда мне, Иван Евгеньевич! Далеко мне до него...

— Далеко ли?

— Конечно! Он же, сами знаете...

— Знаю, знаю! А ты все же не сдавайся. Крепкая же ты... Кержачка!

— Не сдаюсь я, но...— Тамара замолчала, по привычке подавляя в себе желание открыться другому.

— Ну и верно. Ты же права!

— Да?!

Иван Евгеньевич первый сказал то, что она хотела бы после появления статьи услышать от Поставничева, от Павла, который все не ехал и которого она так ждала, от Переметова, от всех... Большими, добрыми руками он снял с нее груз сомнений, и Тамара, полная теперь признательности к этому и без того уважаемому ею человеку, решилась. Она сказала ему все, что думала.

Гопак с серьезным видом, поджав полные губы и сдвинув на широком переносье брови, выслушал горячие слова о человеческой несправедливости, о человеческой хитрости и т. п., в конце же рассмеялся и пообещал:

— Ладно. Посмотрю я у Чекина оснастку. Может, мы с тобой почище чего сообразим.

«Чего сообразим» — Тамара не знала. Но она поверила Гопаку. Она мало знала его, но то, что знала о нем от людей и из газет, и то, что он искренне сочувствует ей, давало право на такую веру. Тамара была уже убеждена: Иван Евгеньевич придумает такое, что поможет ей

сразу вырваться вперед, хоть на полшага да обогнать очкастого старика и... чуточку приблизиться к тому большому, заветному, что воплощал в себе изобретатель Гопак.

Иван Евгеньевич выполнил обещаиие. Дией через пять, когда освоение копировальио-фрезериого стаи-ка подходило к коицу, ои сиова подошел к девушке и, протягивая ей маленький, но увесистый сверток, сказал:

— Попробуй-ка, Томочка. Должно быть, лучше, чем у старика. Это уж я сам накумекал — чекинские приспособлеиия иа твою деталь не пойдут. А это, думаю, пойдет.

Тамара держала сверток в руке и не знала: или сейчас развериуть его и попробовать, нли потом. Рука ее дрожала.

— Не знаю, как н благодарнть вас, Иван Евгеньевич!..

Гопак отмахиулся:

— Свадьба будет — на свадьбу пригласишь. Вот так.

— Обязательно, Иваи Евгеиьевич.

VII

Свадьбу сыграли уже поздней осенью. Развеселая, шумная, оиа неприятно поразила чуртанских жителей, людей по природе суровых и малообщительных, непривычных к тому, чтобы нз рубленых изб их выноснлись сор или радость.

— Бед-да, ие нарвалась бы девка!..— вздыхала в разбужеиную гармошкой темень старая Поздеиха, откидываясь иа завалинке так, что трещал под напором ее широкой спииы резной наличник.— Бед-да! И совету дать некому — ие дождалась покойиица... А дочка вон-те!..

Весь Чуртан на ноги подняла, пирует со своим шалыганом!

— Да уж верно! — вторила ей Фрося.— А думаешь, Степановна, нужон ей материн-от совет! Как-ак же! Сколь раз я сама ей говаривала, сколь раз!..

— То ты, а то мать!.. А чего, чего ты, Ефросинья, советовала девушке?

— Да так уж...— Фрося обиженно поджала сухие губы.

В это время из распахнутых ворот антипинского дома, оглушительно треща, вылетел мотоцикл. Следом вышел коренастый парень без пиджака, но в галстуке, а через минуту выбежала девушка в белом, прижалась к плечу парня.

— Вот они,— прошептала Фрося, толкая локтем свою квартирантку, молоденькую учительницу Элеонору Давыдовну, которая до сих пор сидела молча, неумело лузгала семечки, разнимая хрупкую скорлупу ногтями.

— Да-да...— черные громадные глаза Элеоноры Давыдовны блестели: ей давно уже прискучило жить в квартирантках, и она бы, не раздумывая, поменялась местами с удачливой соседкой.

А удачливая соседка никому бы не уступила своего места. Теснее, теснее прижималась она к теплому плечу мужа, пока тот не обнял ее и не поцеловал крепко-крепко...

— У-ух! А зачем?.. Павлик, зачем он поехал? — отдышавшись, спросила она.— Хватит уже вам сегодня!..

— Чего хватит? А-а!..— Павел весело фыркнул.— Ясно хватит. Да Игорь не за тем и поехал. Он за Симой, она во вторую работает.

— Так ведь поздно уже?

— Где же поздно, Томка? Часу еще нет!

— Поздно! — упрямо повторила она и кивнула на притихшую Поздеиху, которую только что заметила.— Разговоров будет много. А я не хочу!

— Что нам соседи твои — указ? Мы сами с усами — семья!

Павел счастливо, как-то совсем по-мальчишески рассмеялся. Тамара даже не улыбнулась, она рассердилась.

— Не хочу!

— Да почему?

— Я не хочу, чтобы Симка приезжала к нам. Не хочу. И сам знаешь, почему...

— Глупости говоришь, Тамара: у нас же с ней ничего не было!

— Все равно!

Когда они скрылись в воротах, Элеонора Давыдовна, слышавшая все от первого до последнего слова, зябко повела плечами:

— Симпатичный молодой человек!..

Поздеиха отрезала:

— Шалыган! Они с Новой Чуртанки все такие. О-ох, нарвется девка!

— Уж нарвалась! — не удержалась Фрося. Боясь, что перебьют, зашелестела сухими губами: — Ребеночка наша Тамара ждет! До свадьбы еще нагуляла!..

— Врешь, Ефросинья!

— Типун тебе на язык! Когда я врала чего?..

— Ну, полбеды это — с женихом нагуляла...

— С женихом не с женихом — не знаю. Сама не видала, а от людей слыхала.

— Слушай, чего там люди-то болтают!..

Элеонора Давыдовна, видно, думая о своем, обронила в осеннюю темень:

— А Тамара с характером девушка. Она уж не упустит свое!..

Приехал Переметов с Симой, и продолжалась прежняя свадебиая кутерьма: застольное веселье, танцы, игры. Больше танцы: иедаром по Чуртаике ходит глупенькая, но довольио меткая частушка:

В клубе жулика судили,
Присудили десять лет.
После девушки спросили:
«Танцы будут или нет?..»

Тамара тоже не сидела иа месте: таицевала без роздыху — красивая и молодая, с лица совсем татарка, если бы не светлый волос. Подол летнего платья, тесио охватившего кореиастенькую фигурку, белым облаком забивался в горячие колеии. Но танцевала только с Павлом.

— Паша, друг! Брось невесту, сыграй лучше!..— просил через всю комнату Переметов.

— Ну уж иет, не брошу! — смеялся в ответ счастливый Павел, крепче прижимая к себе Тамару. И ие отпускал до тех пор, пока сама оиа ие взмолилась:

— Устала я... Нельзя мне, Павлик, миого!

И сидели они потом рядом. Тамариив ладошка покоилась иа плече Павла, а тот играл. Ярился в крупиых и сильиых руках баян, выплескивал жаркие песни, услышаиные и здесь, в уральской стороие, и там, куда заиосила солдатская служба.

Ой, кто любит,
Тот страдает,
А кто слабый —
Помирает!..

Песни, припевки дружио подхватывали, а когда Павел заводил плясовую, древняя избушка иа курьих иожках ходуном ходила. Старая Чуртаика — жители ее при-

выкли ложиться н вставать рано, чтобы утром поспеть на завод и иа базар,— давио уже спала, а желтые тени в Тамариных окиах все горелн, трепыхаясь.

Тамару давио уже разморило, ио оиа старалась ие показывать виду, терпеливо сндела с гостямн, ради Павла. На свадьбу собрались его друзья, его товарищи. Тамарнных друзей не было. Да и есть лн они вообще? Нелегко сходится оиа с людьми, редко улыбается им. А люди — убедилась она — любят, чтобы им улыбались, оии ие любят хмурых.

Ну какой там, скажи, друг из Переметова? Напился сейчас и треплется чего-то, а эти слушают, уши развеснли... Галстук в цветочках, брючкн узеиькие, а ногн, как у жирафы,— пижон! На работе серьезиый, а тут!..

Или вот его Симочка — московская красавица... Воображает миого. Приехала по комсомольской путевке на стронтельство, а оказалась иа заводе. Сбежала, факт! На той неделе в бюро нзбралн — культмассовый сектор... А зачем? Что у нее вокальные даиные иичего, так это еще нн о чем ие говорит. А за Павлнком, за Павлнком как бегала! Да ои ие дурак, ее Павлик!..

А Сеиька Лобаиов хорош! Лнзке Шаповаловой голову закрутил, а как жеиитьcя, так в кусты!.. Илн вот Степка Простаков, нли вот Аия Рославлева, илн... Мало их иа свете добрых да хороших. Одни, навериое, ее Павлик. Серьезиый ои парень, мыслн у иего серьезиые. В заводе к иему — все с уважеиием, хоть и беспартийный... В ОТК вот перевелн — хорошо, ответствениая работа!..

Ну, Павел — это особая статья, его в ряд с другими ие поставишь, любит его Тамара. Весной, когда осыпало чуртанскне переулки черемушным белым цветом, иичего для него ие пожалела...

Кто еще у Тамары друг, кроме Павла? Никого. А Иваи Евгеньевич? Вот это человек!.. С того дия, как помог он

ей в истории с Чекиным, иет для нее иа свете человека более уважаемого... Но высокого полета Иван Евгеньевич Гопак — тыщи раз писали о ием в газетах, и трудно подступиться к нему, хотя ои тоже простой рабочий. Обещал вот быть иа свадьбе, а нет и нет.

Взмахом ладоии оборвав музыку, Игорь Переметов иацедил всем по последией и, пошатываясь, пошел с рюмкой иа Павла:

— Выпей, друг, и... оставайся! Тебе я счастья желаю — зиаешь, какого? Зиаешь?..— и, ие досказав, сминая на груди шелковую сорочку, нежно заграбастал Павла длинными руками. Выпрямившись, погрозил Тамаре перебитым пальцем:

— Гляди, иевеста!.. Лучшего работягу тебе отдаем, и лучшего... Э-э... В общем, гляди!

Все, будто сговорившись, посмотрели на Тамару. А оиа? Мгновеиио слетела с лица тихая задумчивость, обиженно вскииулся ие по-жеиски упрямый подбородок:

— Подумаешь, одолжение сделали!.. Просила я вас?

Переметов испугаиио, ломаясь в поясе, отшатиулся, и тотчас же из дальиего угла — звоикий девичий голос:

— Еще «подумаешь»!.. Полегче на поворотах, кержачка!

Симка? Коиечио, оиа! И сразу же — дерзкий ответ, ответ-вызов:

Я на свадьбу тебя приглашу,
А на большее ты не рассчитывай!

В полный голос, злорадио, быстро пропела Тамара и ударила в цель: зелеиая косынка метиулась к двери... Следом за Симкой — Игорь.

— Куда вы, ребята? — Павел, скииув с плеч ремеиь, спокойио положил баяи иа соседиий стул и встал. Некрасивое, в оспиках, лицо его оставалось таким же доб-

родушным, как всегда, и улыбка была прежияя — добрая и притягательиая.

Он ласково обиял вздрагивающие плечи жены:

— Чего это ты, Тамара? Так все хорошо, а ты!..

Постепенно Тамара успокоилась. И уже другое иачало волновать ее. «Выгиала Симку, а ведь гостья она... Непорядок!» Решила пойти, вериуть девушку. Коиечио, подскажи ей такое решеиие другой кто,— пусть даже Павел! — ии за что бы ие пошла. А тут пошла...

Сперва загляиула иа кухню: Симы там ие было. Девчата, добровольио хлопотавшие возле громадной русской печи и стареиького посудиого шкафика, сразу же зашумели:

— Ну-ка, иди, иди, невеста. Без тебя тут обойдется!..

— Ладио, хозяйиичайте! — улыбнулась Тамара, сделав вид, что только и зашла затем, чтобы помочь.

В смежиой с кухией комнатушке, заваленной пальто и пиджаками, вообще никого не было. «Домой убежала, что ли?» — сердилась уже Тамара, иетерпеливо нащупывая двериой засов в сеицах.

Тихо-тихо на старом дворе... Осеннее чериое небо придавило замшелый верх полуразвалеиного забора, закутало теменью выкопаиный невеселый огород, потухший фонарь иа столбе за воротами. Девушка постояла иа иизком крыльце, осматриваясь по сторонам — нету!.. Чу! Или это послышалось? Оиа сбежала по скрипучим ступенькам и — к калитке.

За воротами на скамейке плакала Сима. Оиа с силой прижимала к губам, глазам запутавшийся в пальцах платок и все же ие могла сдержать всхлипываний.

— Си-имка!.. Да чего это ты? — Тамара иикак не ожидала от москвички быстрых слез и сейчас даже растерялась. Оиа присела иа скамейку и, зажав в коленях ладоии, пригиувшись к Симке, попросила:

— Не надо так!

Тарабеева резко вскинулась; даже в густой темени ясно различила Тамара мокрые и злые ее глаза, черный мазок распухших губ, белые щеки... Губы шевельнулись и вместе с жарким дыханием вытолкнули исступленные слова:

— Уйди-и! Зачем ты пришла? Зачем ты?! Ты злая, вредная, ты... кержачка! Ему будет плохо с тобой, я знаю!.. Он же...

Слова Симки — жало ядовитое. Но не достигло это жало Тамариного сердца. К чему себе нервы портить? Все равно с нею же Павлик, а Симка на бобах... Нет даже недавней неприязни к Тарабеевой, да и жалости нет. Выслушав все, Тамара одним точным движением засыпала глубокую ямку, которую до того старательно каблучком высверливала в утоптанной земле, и встала. Не глядя на девушку, спокойно и убежденно отрезала:

— Дура ты, Симка. А еще из Москвы!

Тамара подходила уже к воротам, когда вдруг вырвался из темноты сноп света и заполыхался перед ней на пропыленных тесинах. Она удивленно обернулась...

Машина!

Из-за угла неторопливо выкатилась «Победа», зажгла, разворачиваясь, черные сонные окна соседей и — прямо к Тамариному дому. Гулко отскочила дверца, и чей-то страшно знакомый голос окликнул:

— Девчата! Антипины не тут живут?

— Ив-ван Евгеньевич! — Тамара бегом бросилась к машине.

— Томочка!.. Наконец-то! А я уже и дорогу забыл...

Гопак с трудом выбрался из-за баранки и, широко улыбаясь, подал руку.

— Поздравляю, Томочка!..

— И я тоже! — Снова хлопнула дверца, и кто-то об-

нял Тамару. Женя? Конечно, она: мягкая ткань дорогого жакета, тонкий запах дорогих духов...

— Ой! Как я рада! — Тамара ухватила обоих за руки.— Идемте же в дом, иде-ем-те!..

— Погоди, погоди, чуток...

Гопак подогнал машину поближе к воротам, потом, тяжело перегнувшись, достал с заднего сиденья что-то громоздкое, обернутое в газеты, и все пошли в дом.

За воротами осталась только Сима. Она молча кивнула в ответ на приветствие Ивана Евгеньевича, но с места не двинулась. Тамара же, взволнованная приездом Гопаков,— им она была рада как никому из гостей,— и внимания не обратила на «соперницу», сразу забыла о ней.

— Здесь три ступеньки, Иван Евгеньевич! Не упадите,— суетилась она, думая только о том, как бы лучше и радушнее приветить дорогих гостей.

VIII

Появление Гопаков на свадьбе произвело впечатление. Гости разом зашумели, повыскакивали из-за стола. Парни помогли Жене снять жакет; его не бросили в общую кучу на кровати в соседней комнате, а аккуратно распяли на плечиках и повесили в шифоньер. Ивана же Евгеньевича, по его просьбе, провели в сенцы и там, зажигая спички, ждали, когда он отмоет пропахшие бензином руки.

Девчата за эти короткие минуты успели прибрать на столе, выставить последние свадебные яства.

— Я опоздал... Но и я хочу выпить за счастье молодых,— подымая «штрафной» стакан, сказал Гопак.— Я желаю Тамаре и ее мужу счастья в жизни, крепкой

любви, материального благополучия... Тамаре же лично, я знаю ее как прекрасного новатора, я желаю...

Тост слушали внимательно, особенно Тамара. Она подалась вперед, так что край стола больно уперся в грудь, и слушала, затаив дыхание. Щедро долитая рюмка в ее руке слегка дрожала, и густые капли, просачиваясь меж пальцев, скатывались на белую скатерть. Правда, порой ей казалось, что Иван Евгеньевич чуточку перехлестывает, напрасно хвалит — ведь его заслуга, а не ее в победе над Чекиным... Но все равно слушать было приятно...

«Нова-тор!» — тихонько передразнил кто-то справа Гопака. Кто? Конечно, Переметов!.. Тамара даже не посмотрела в его сторону, но все внутри у нее перевернулось. «Ну и дружки у Павлика!» — с горечью подумала она и сейчас же, боясь прослушать Гопака, постаралась забыть о Переметове.

Иван Евгеньевич закончил, и звонко встретились над столом рюмки. Опрокинув свой стакан и бросив в белозубый рот фиолетовый кружок лука, он наклонился к Тамаре и шепнул:

— А у меня, Томочка, подарок для тебя свадебный. Вон в углу, в газетах... Сам сделал.

— Зачем вы, Иван Евгеньевич?

— Ладно-ладно!..

Гопаки не переставали быть центром внимания всех. Когда посередине стола взгромоздили бабушкину глиняную жаровню с остатками румяной гусятины, Иван Евгеньевич очень к месту рассказал анекдот об ощипанном живом гусаке. Потом, выпив еще, он вспомнил молодость и рассказал об одном из первых своих изобретений — кинопередвижке, показывающей фильмы без перерыва. До войны это было, действительно, немалым достижением.

— Велнкое открытие сделал! — потрясая чертежиком, набросанном на лоскутке бумажной салфетки, гремел он; н выраженне лнца его прн этом делалось грозиым, как у нмператора.— Только... Только, правда, пожариикам мое нзобретение не понравнлось. Эх, н взялн онн меня в оборот! Огнеопасно, говорят, и не спорь!.. Я не поверил, разозлился... А через неделю повернл. Через иеделю сгорело мое кино.

Иван Евгеньевнч рассмеялся н опять предстал перед всеми добрым, простодушным хохлом, который и муху ие обнднт, но н себя в обиду не даст. Его дружио поддержало все застолье. Парнн явно снмпатизировали ему. Даже Переметов, еще недавно выражавший иедовольство по поводу «новатора», сейчас долго хохотал, ударяя себя ладонямн по коленкам:

— Молодец!.. Н-ну, молодец, Иван Евгеиьевнч!..

Девчата же с любопытством поглядывали иа Жеию, которая, наоборот, сндела очень скромненько и больше молчала. Но это было красноречивое молчание. Все, что ни говорнлось, отражалось, как в зеркале, иа ее очеиь мнлом жнвом лнце. Еслн речь шла о вещах серьезиых, большие темные глаза Жени делалнсь задумчивыми, а несколько чувственный алый рот с чуть заметиыми уснкамн над верхней губой тоже серьезио поджимался. Оиа по-своему помогала говорнвшему, временами заннтересованно поддакнвая, поннмающе кивая коротко остриженной черноволосой головкой. На шутки Женя отвечала иегромкнм приятным смешком, который всегда звучал однианково и одинаково подбадрнвал, располагал к иеи шутннков.

Уменне «Гопачкн» вестн себя на людях, а главиое, модиая прическа, изящное тугое платье иепрнвычной, но скромной расцветки прнвлекало заводскнх девчат. Что греха тантъ, все онн, конечно, далеко ие равнодушиы к

модам, и только занятость, обилие домашних хлопот, а подчас и нехватка средств мешают им одеться так, как хочется.

Вернувшаяся наконец Сима тоже заинтересовалась новыми гостями. Она не прошла сразу в комнату, а остановилась на пороге, захватив озябшими руками косяк, и, наверное, минут пять стояла так. Бледное круглое лицо ее за эти минуты отдавало той же молочно-матовой белизной, что и гладкие планки косяка. Сима, казалось, изучала Гопаков: рассматривала их так пристально, будто видела впервые, хотя с Женей она, несомненно, встречалась по двадцать раз на дню.

Это не ускользнуло от внимания Тамары, сидевшей как раз напротив двери. «И чего вылупилась?» — с раздражением подумала она. Когда же девушка, по-прежнему не отводя глаз от Гопачки, поморщилась, Тамара не удержалась и подтолкнула Павла:

— Гляди, расфыркалась твоя!..

Павел,— он сидел, широко расставив локти и втянув крупную голову в плечи,— сначала было удивленно округлил глаза, а потом, поняв в чем дело, только смущенно улыбнулся:

— Мне, по правде сказать, тоже они надоели...

— Надоели?!

— Ну да.

Павел отвечал едва слышным шепотом: поскрипывая стулом, он наклонился к Тамаре так близко, что теплые губы его касались ее щеки. И это походило на поцелуй, не на те поцелуи, официальные и холодные, о каких под крики «горько!» просили сегодня молодоженов, а на совсем другие...

И поэтому она не обиделась. Она вдруг тоже почувствовала, что устала уже, что ей тоже надоел этот шумный вечер с подгулявшими ребятами. Ей вдруг страшно захо-

телось, чтобы все ушли — даже чудесные Гопаки,— и они с Павликом, как вчера, как позавчера, остались бы одни в этом доме. Совсем одни.

Гости разошлись только под утро.

Чуть раньше других уехали Гопаки. На прощание Иван Евгеньевич крепко встряхнул невестину руку, дружески потискал в могучих объятиях Павла.

— Да,— обернулся он в дверях,— если не справитесь, сообщите. Помогу! — и кивнул на запеленутый в газеты ящик.

Когда всех проводили и Тамара, пошатываясь от усталости, вернулась в комнату, первое, что она сделала, распечатала подарок Гопаков.

— Па-авлик! Скорее сюда!.. Смотри!

Из груды разорванных газет выглядывал голубоватый экран телевизора.

— Соли-идно! — в растерянности протянул Павел, поглаживая затылок.— Я думал: посудина какая, а тут вон чего! Солидно!.. Ну, ладно, коли денег не жалко...

— Это Иван Евгеньевич сам сделал!

— Вижу. Из старья сделал... Мастер, конечно!

Эх, если б знал Павел Курасов, какие несчастья принесет в его новый дом этот мастер, грохнул бы о пол дорогой подарок, в печи бы спалил полированные щепки!

Но не знал он тогда ничего.

IX

Молодоженам всегда хорошо. Как и влюбленным.

Но Тамаре и Павлу все-таки не повезло.

Не отшумел еще осенний угарный листопад, как Павел тяжело заболел. В том году занесло в наши края безобидную вроде бы хворь — грипп, и тысячи людей чи-

хали и кашляли, по неделям не выходили из дому, пробуя все предписанные и непредписанные лекарства: в безлюдных цехах на заводах останавливалась работа. Не уберегся и Павел.

Два дня он ходил невеселый и еще более тихий, чем всегда: добрая улыбка уже редко преображала некрасивое, конопатое лицо.

— Возьми ты бюллетень! Все же берут,— советовала Тамара.

— Вот именно: все берут... А работать кому?

Работал Павел старательно. Он осваивал новую для него специальность — мастера отдела технического контроля — и делал это очень добросовестно. Он не ограничивался, как другие контролеры, проверкой прошедшей окончательную операцию детали, а «влезал» внутрь всего технологического процесса. Тамара не раз видела, как он необидно отстранял от станка кого-нибудь из молодых токарей или шлифовщиков и сам показывал, как лучше, чище обработать деталь. Конечно, помогала ему в этом большая практика, прежние специальности.

Не хотел Павел отрываться от работы; превозмогая себя, ходил на завод... И доходился. Вдруг почувствовал, что ноет рука, потом нога... Вскоре паралич разбил всю правую сторону тела.

— Осложнение после гриппа,— объявила Тамаре врач Нежная, женщина крупная и грубоватая.

Павла положили в больницу, и Тамара теперь чуть ли не каждый день после смены бегала туда. Раза два, сказавшись медсестрой, она проникала в палату. Глухие холодные стены оттого, что в них отражается все белое, казались Тамаре сложенными из чистого льда; ее даже знобило, когда она, старательно обходя кровати, спешила к окну, где лежал муж.

Павла трудно было узнать. Чужое лицо. Незаметные

обычно брови резко выделялись, будто их нарисовали. Глаза грустные-грустные... Если бы не глаза, можно было подумать, что Павлик в маске. Рот был слегка полуоткрыт, тень от пухловатых добрых губ скрывали зубы — обычно ослепительно белые,— и они от этого казались черными...

Нескоро стало ему лучше. Долго и мучительно пришлось Тамаре дожидаться той минуты, когда врач Нежная наконец сказала ей:

— Забирайте своего, девочка... Да будьте повнимательней! И процедуры пусть не пропускает.

Было это ясным и морозным ноябрьским утром. Снег еще не выпал, но желтый суглинок на дорогах, сбитый грузовиками в безобразные кривые борозды и застывший, вот-вот должен был прикрыться белым одеялом. Идти было трудно: нога у Павла не слушалась, и Тамара боялась все, что он упадет. Квартала через два, впрочем, он уже освоился: втыкал костыль посреди лужи и перемахивал. Ломкий ледок при этом хрупал и рассыпался: тысячи солнечных жизнерадостных искорок щекотали глаза. От чудесного блеска поднималось настроение.

Тамару сейчас уже не мучили тревоги. Изголодавшийся по новостям, Павел занимал жену расспросами, она отвечала, а сама думала о другом... Она мечтала.

Теперь их жизнь должна пойти как надо. Вот Павлик выздоровеет совсем, будет работать — он хорошо умеет работать! — и все будет хорошо. В их избушке на курьих ножках обязательно будет достаток (за время болезни мужа Тамара истратила все те небольшие деньги, которые удалось накопить после «победы» над Чекиным); можно тогда выбросить старую бабушкину кровать и купить новую; Павлику купить синий в полоску костюм, а себе платье, как у Жени. А дочке? (Тамара была уверена, что у нее родится именно дочка и назовут они ее

Светланой, Светкой.) Дочке тоже много надо! И у нее, конечно, будет все...

Павел, видимо, понял настроение жены.

— Все должно быть отлично, Томка! — хлопнул он ее по плечу и... потерял равновесие. Вырвавшийся из пальцев костыль покатился по стылой земле, и Павел, не справившись с больной ногой, упал.

— Осторожней надо!.. Что ты, Павлик? — Испуганная Тамара растерянно тянула мужа за рукав. Тот чертыхался, пытался подняться. Наконец встал, поднес к лицу окровавленные пальцы: веселые звонкие льдинки оказались острее бритвы...

— Ну, вот. И будешь теперь со мной нянчиться, как с младенцем,— грустно сказал он, принимая от жены костыль.— Не везет!..

* * *

И Тамаре действительно немало пришлось понянчиться с медленно выздоравливающим мужем. Целыми днями теперь он просиживал дома: что-то починял, что-то читал, а чаще тихонько наигрывал на баяне — разминал пальцы. Когда Тамара была на работе, Павел сильно тосковал один. Он не раз жаловался по вечерам:

— Ох, и надоело мне, Томка! Лучше бы!.. Не знаю, что бы и сделал. Понимаешь: руки болят!..

— Руки? А что случилось? — Тамара, в последнее время очень нервная и мнительная, тотчас же испугалась: схватив кисти его рук, она внимательно рассматривала их на свет.— Да вре-ешь ты!

Павел мрачно усмехнулся:

— Чего смотреть! Все одно глазами не увидишь!.. Тут сердцем понимать надо. Работы нет — вот они и болят.

— Иди ты!..

Вскоре она сама поняла, что значит, когда томятся в безделье руки. Начался декретный отпуск. Тамара сначала было энергично взялась за «приданое»: шитье распашонок, пеленок, подгузников,— потом же, когда все было готово, заскучала. Короткий зимний день с холодными серыми тенями на подоконниках казался ей длиннее целого года.

Ближе к весне супруги поменялись ролями. Здоровье Павла улучшилось — он уже забросил на чердак костыли и аккуратно через день ходил к Нежной выпрашиваться на работу. Тамаре же, наоборот, стало труднее: приближались роды...

— О-ох, скорей бы! И когда все это кончится?..— нет-нет да и проговорит с тоской Павел.— Сидим дома, будто и делать больше нечего!..

— Что ты вздыхаешь? Прямо надоело!..— раздражалась Тамара.— Не хочешь сидеть, иди на все четыре стороны... Хорошо тебе, поправляешься! А я?

Павел не спорил: в последнее время он вообще старался не перечить жене, раздражавшейся по всякому, даже самому пустяковому поводу.

— Тебе ведь, Томка, тоже надоело,— смиренно соглашался он.— Вижу я...

— Видишь — и не ной!

Разрядка в напряженных семейных отношениях наступала только тогда, когда приходил кто-нибудь из цеховых ребят.

Чаще других в доме появлялся Игорь Переметов. Он по-прежнему щеголял в ярком пиджаке, но это уже не выглядело пижонством, потому что многие из чуртанских начали одеваться точно так же — местные магазины были полны дешевой заграничной одежды. С некоторого времени Игорь посерьезнел — говорил, что женится на Сим-

ке, дурачился меньше, правда, в доме лучшего своего друга Пашки Курасова иногда еще позволял себе кое-что из прежних штучек.

— Привет больным! — обычно еще на пороге раскланивался он.

— Здравствуй,— неохотно отвечала Тамара.— Проходи, проходи, не напускай холоду!

— Ладно уж, раз приглашаешь...

Игорь, посмеиваясь, раздевался, потом долго шарил по карманам и, наконец, выуживал крохотный помятый кулек.

— Это вам, любезная хозяюшка!

— Спасибо. Не нужно...— отказывалась она, а про себя добавляла: «Для Симочки своей прибереги!..»

— А может, возьмете?

Тамара разворачивала кулек, на дне его — единственная конфета «Белочка».

— Остальное съел, конечно?

— Как можно, Тамара Алексеевна? Целехоньки!..

— Ну так давай.

— Нет. Один уговор... Сначала, значит, мы с Павлом по маленькой...

— Понятно. Опять водка? — Тамара делала шаг к вешалке, где оттаивало заиндевевшее пальто Переметова, бралась за карман.

— Да погоди, Томка, не забирай!.. На твои конфеты!

Несмотря на яростное сопротивление гостя, сильная Тамара все же завладевала бутылкой и прятала ее.

— Если надо, сама куплю. А со своей не приходи! Понял?

За ужином скрепя сердце она все же выдавала мужчинам по рюмочке.

При появлении Переметова Павел преображался. Он вскакивал с излюбленного места возле окна, за которым

день-деньской синевато-белой пеной сугробился легкий снег, и, чуть прихрамывая, начинал беспокойно кружиться по комнатушке.

— Рассказывай же... Ну, рассказывай!

Игорь садился на бабушкин сундук, обитый блестящими жестяными полосками, и добросовестно выкладывал все заводские новости.

Разные это были новости. Табельщица Любка Федорова замуж выскочила за молодого специалиста-москвича. Радехонька и уже зазналась. На участке Павлова поставили новый фрезер: снабжен электронным устройством. Матч по хоккею все же продули кузнецам. Юрку Аксенова — три прогула подряд — разбирали вчера на комсомольском бюро, влепили выговор...

А однажды Игорь рассказал про случай со сталеваром Разиным. И после этого Тамара с Павлом чуть ли не вконец разругались.

Разина Тамара знала, видела его несколько раз на собраниях, однажды на молодежной научно-технической конференции, в клубе. Он высокий такой, симпатичный, у него очень мужественное лицо. Зовут его Степан, как и того Разина, народного героя... Чуртанский Разин в своем роде тоже герой. Он много лет добивался увеличения кампании своей сталеплавильной печи, изобретал, ошибался, втихомолку исправлял ошибки — и добился, наконец. Результаты поразительные! Никто еще в стране, да, пожалуй, и во всем мире, не достиг таких результатов: печь Разина не останавливают на ремонт уже шестой год!..

Ясно, что после всего этого — терпеливых исканий, борьбы и, наконец, победы — Разина подняли на щит. О нем писала «Правда», на заводе организовывались совещания по передаче разинского метода, из Свердловска специально выезжала кинохроника. Судя по всему,

слава не одурманивала новатора, он по-прежнему вел себя скромно и даже, несмотря на свои сорок лет, начал учиться в техникуме.

Случай, о котором рассказывал Переметов, открывал Разина с новой, несколько неожиданной, но тоже хорошей стороны.

Его представили к большой министерской премии. И не только его. Вместе с Разиным авторами нового метода назвали еще трех инженеров, начальника цеха и даже председателя цехкома профсоюза. Это было несправедливо. Большинство из «кандидатов» не только не помогали новатору, но даже мешали ему... Не разобрались, вероятно, в далеком министерстве!

Другой бы на месте Разина промолчал. Его-то фамилия первой стоит, к тому же портить отношения с начальством не всякому хочется... Разин не промолчал. Он пошел в партийный комитет завода и предложил внести в список обер-мастера Веденева, инженера Чазова, двух рабочих из своей бригады — тех, кто действительно прошел с ним долгую маяту, а фамилии остальных выкинуть. И еще добавил под конец, что, если его предложение не примут, откажется от премии...

— Правильно! — не дослушав Переметова, рубанул по столу Павел.— Прихлебателей этих...

Он вовремя спохватился, глянув на насторожившуюся сразу Тамару, сказал спокойнее, обращаясь уже к ней:

— Томка, ты слышишь? Как-кой все же молодец Разин! Не то, что кстати, твой Гопак...

Крохотные Тамарины уши под легкими крыльями волос чуть порозовели. Она пожала плечами:

— Почем знать? Может, Иван Евгеньевич так же поступил, если бы пришлось...

— Он-то? Куда ему!.. Очень уж твой Иван Евгеньевич деньгу любит, не стал бы рисковать, не думай!

— Ну, почем ты знаешь? — взвинтилась Тамара.— Обвиняешь человека, льешь на него помои... А зачем? Факты где?

— Будут факты, не беспокойся... Вот поживем, увидим!

— Ага! Нет фактов, а говоришь!.. И не стыдно тебе? Иван Евгеньевич помогает мне, нам...— Тамара бросила выразительный взгляд на подаренный Гопаком телевизор.— Бессовестный!..

— Бу-удет вам! — вмешался Переметов, впервые в жизни ставший свидетелем «семейного разговора».

— Да ну его!..

Тамара, уже не сдерживая обидных слов, выбежала из комнаты.

— Нервная,— тихо заметил Игорь.

Павел не ответил. Чем ближе роды, тем труднее было ему ладить с женой. Скорей бы уже!..

Родила она в феврале. Когда Павел, растерянный и поэтому еще более неуклюжий, вел ее в больницу, небо было не по-зимнему высоким и ослепительно синим. Искусанные губы Тамары непрошенно шептали выхваченные по памяти строки: «В феврале уже в оконце засияло ярко солнце...», а на душе было тревожно и радостно, как бывает, когда катишься на санках с горки и уже чувствуешь, что обязательно врежешься в снежный сугроб. «В феврале уже в оконце...» Тамаре казалось, что яркое умытое солнце в необыкновенно синем небе — доброе предзнаменование.

И верно, роды прошли удачно. Родилась не девочка, как ждали, а мальчик. В молодой семье появился теперь «хозяин» — беспокойный горлан с розовой кнопкой на том месте, где полагается быть носу. Назвали горлана — Юрка, Юрча.

X

Трудной была эта весна. Маленький Юрча отнимал у Тамары все время, ни минуты не оставалось свободной. Еще труднее стало, когда кончился отпуск и надо было выходить на работу.

— Придется в ясли отдать. Правда, маленький еще, жалко... Да что поделаешь! — говорила Тамара мужу.

Павел соглашался. Но когда он по настоянию жены обошел несколько детских яслей, побывал в райздравотделе, то лишь развел руками. Мест не было, некоторые ждали уже по году.

— Поговорил бы в завкоме,— советовала Тамара.

— Говорил.

— Значит, плохо говорил. Ты бы объяснил положение... Почему тебе не должны дать? Не последний же ты человек в цехе, на Доске почета висишь!

— Вишу.

— Не смейся, Павлик! Слышишь, не смейся!.. Неужели, скажи, не могут без очереди устроить одно местечко для Юрчи?

— Нет, Тамара, не могут. С какой стати? Кто я такой? Ну, кто?

— А ну тебя! Просто ты не хочешь. Не любишь ты Юрчу... Вот! И меня не любишь! Понятно?

— Чего говоришь? Шурупишь? — Павел выразительно постукивал ногтем по лбу.

— Не можешь, тогда сама сделаю!

— Посмотрим...

Тамара не понимала Павла. В горячей несогласной голове ее никак не укладывалось, что она и Юрча должны страдать из-за каких-то там мужниных принципов. Она начинала кипятиться, кусая губы, бросала ему обидные упреки. И странно, чем больше выходила она из себя,

тем спокойнее становился Павел. Редко, очень редко срываясь с тона вообще, в такие минуты он держался удивительно ровно. Молча выдержав кипятковый душ Тамариных слов, он подходил к ней и с неизменным искренним участием, прикоснувшись мягкими губами к маленькому жаркому ушку, спрашивал:

— Успокоилась, Томка?

И она в самом деле успокаивалась на какое-то время.

А Павел делал по-своему. В мелочах он, правда, уступал жене. Но только в мелочах... Как-то Тамара потребовала, чтобы он перевелся из ОТК опять на станок — заработки на новом месте оказались гораздо ниже прежних,— Павел не согласился. Не согласился он и «порвать всякие отношения» с Симой Тарабеевой: с нею его связывала общая работа в комсомольском бюро. Тамара по-прежнему, хотя и редко, заставала их вместе в красном уголке или в плановом, где работала Сима. То же самое и с яслями. Из-за этих яслей они теперь вынуждены были работать в разные смены: один кто-нибудь сидел с Юрчей. Павлу, вечно занятому общественными делами, было это особенно неудобно, но он терпел и второй раз просить все же не пошел.

Нет, Павел оказался не таким уж тихим и покладистым, как считала когда-то Тамара...

Одним словом, трудной выдалась эта весна. Даже работать Тамаре после отпуска стало нелегко: отвыкли руки... К тому же и уставала она очень: Юрча спал по ночам беспокойно.

Как-то утром на Тамарином участке появилась группа людей. В центре — маленький, квадратный, в кепке, блином осевшей на массивной голове, директор! Тамаре очень хотелось выключить станок и послушать, о чем говорят. «Бабье любопытство!» — обозлилась она и заставила себя окончить операцию.

Говорили больше начальник участка Геннадий Черноусов и Ребров, заместитель начальника цеха. Директор же молчал. Вдавив мясистый подбородок в ворот глухо застегнутой суконки, он исподлобья поглядывал на рабочих за станками, на все вокруг. Глаза у него — хоть и узкие, придавленные морщинами-складками, но острые, испытующие. Сейчас, например, задержал он взгляд на Тамаре, и сразу покатилось куда-то ее храброе сердце.

— Ер-рунда! — оборвал директор гладенькие объяснения Реброва.— У вас огромные резервы, и не спорьте! Поищите, поищите! Оторвите зад от стула и, я уверен, найдете...

Ребров заметно побледнел, новенький галстук его, вылезший из-под аккуратно подогнанной спецовки, стал, показалось Тамаре, еще ярче. А Черноусов в ответ на директорскую грубость свирепо нахмурился: молодое, всегда приветливое лицо сейчас будто окаменело, стало чужим. Он что-то тихо сказал Окулову, видимо, возразил. Тот внимательно посмотрел на окаменевшее лицо молодого мастера, сердито фыркнул, но тут же успокоился и забасил, тыча ладонью куда-то вверх:

— Экономить, говорите, не на чем... Хозяева! Вымойте, продрайте стекла, чтоб, как в оранжерее, блестели,— вот вам и дополнительное освещение, вот вам и экономия электроэнергии. Хоз-зяева!..

Тамара невольно посмотрела туда, куда показывал Окулов, и точно в первый раз увидела задымленную, грязную решетку фрамуг. Половина стекол выбита, через пустые гнезда пробивается сейчас майское солнце, а в ненастье — сырой ветер.

— А резервы производительности? — услышала она позади себя и поторопилась установить очередную заготовку.— Все вам резервы известны? Молчите? Не знае-

те! Ну так спросим вот у этой девушки, если вы не знаете!..

Тамара ощутила на своем плече тяжесть чужой руки и в ту же секунду перевела станок на холостой ход.

— Давно в цехе?

— Четвертый год...

— Фамилия?

Тамаре стоило немалого труда выдержать тяжелый, оценивающий взгляд директора. Она старалась отвечать спокойно, но и сама не заметила, как достала из кармана белоснежный носовой платок и измазала его в промасленных пальцах.

— Курасова знаю. Жена его?

— Жена...

— Хм!.. Так вот скажи, Курасова: можно что-то сделать на твоем участке, чтобы повысить выработку?

— Штурмуем часто, Сергей Сергеич!

— Знаю. Работаем в этом направлении, а еще что?

— Подумать надо, Сергей Сергеич... И сделать.

— Вот-вот, подумай и сделай! — Окулов прищурил посветлевшие глаза и опять, но уже легонько тронул Тамарино плечо.

Черноусов тоже улыбнулся и заметил:

— Эта сможет, Сергей Сергеич. В прошлом году она даже Чекина за пояс заткнула. Помните, статья в газете была?

— Чекин? А, помню, помню... Так думай, Курасова! В следующий раз буду — спрошу. Ясно?

— Ясно, Сергей Сергеич!

Директор с Черноусовым и Ребровым ушли уже, а Тамара все не принималась за работу. Разговор взволновал ее, взволновало внимание Окулова, этого нелюдимого и грубоватого человека, для которого, догадывалась Тамара, большой завод, где он работает лет пятна-

дцать, и десятки тысяч людей на этом заводе никак уже не чужие. Ведь рассказывают же, что, когда Окулову предложили занять большую квартиру в новом доме, он отказался. «Пока мои рабочие живут в бараках, обойдусь и я!..»

Директор сказал: «Думай, Курасова!..» Она обещала. И ей, действительно, хочется сделать большое — не то что раньше! — такое большое, чтобы и директор, и Иван Евгеньевич удивились. Но как тут думать, если все так плохо...

В тот день работалось особенно трудно: плохо слушались руки, покалывало от недосыпа в висках, и все чаще вхолостую шелестел станок... Когда Тамара сбросила на пол четвертую запоротую деталь, приковылял взъерошенный Чекин, с недавнего времени переведенный в мастера:

— Ты, девка, чего сегодня? Или чаю с утра не попила — так и махаешь брак! Смотри-и!

— Все у меня в порядке. Просто так чего-то...

Чекин, не слушая, поковырялся в станке, подкрутил зачем-то головку шпинделя и, буркнув: «Валяй теперь!...» отковылял в свой угол.

В перерыв, наскоро сжевав в столовке дешевый обед, Тамара вышла из цеха. Ослепительное солнце, там, в цехе, скупо расплескавшее янтарные лужицы, здесь, на воле, топило в веселом пламени и серые бока километровых корпусов, и молодую зелень на газонах, и задымленные трубы ТЭЦ.

Узкой тропкой, вызмеившейся среди спутанной травы, Тамара вышла на главный заводской проезд. Этот проезд мало чем отличался от главной улицы поселка — разве только здания посуровее, потяжелее. Так же тарахтят здесь груженые автомобили, такая же пустынность в дневной час на асфальтовых тротуарах, те же дым и пыль забиваются в волосы редких прохожих.

— Томочка!.. Здравствуй, милая дивчина!

Иван Евгеньевич? Конечно, он. Кто же другой может назвать ее Томочкой и кто другой умеет так крепко и необидно взять за плечи!.. Тамара украдкой, будто поправляя волосы, оглянула Гопака с ног до головы и даже сейчас, в минуту отчаянно плохого настроения, ощутила в себе радость оттого, что видит этого человека.

— Давненько не встречал, давненько! Как дела? Как мой подарок? — Гопак на какую-то долю секунды еще крепче прижал к себе Тамару, так что до нее донесся запах разгоряченного мужского тела, смешанный с запахом кожи: с курткой из желтого хрома Иван Евгеньевич не расставался ни в какое время года.

— Телевизор ваш испортился, к сожалению...

— Исправлю. А еще что? Случилось что-нибудь? — Гопак силой повернул Тамару к себе, заглянул в лицо.

— Долго рассказывать, Иван Евгеньевич...

XI

Гопак — единственный на свете человек, который все может понять, и Тамару тоже. Ей, впрочем, и до сих пор странно, как так получилось, что она, недоверчивая ко всем, вдруг чуть ли не в первый день знакомства, открылась перед этим человеком.

Сочувственно кивая, умерив шаги, слушал он тогда ее сбивчивый рассказ. И ничего, в конце концов, не сказал, кажется, только одно: «Не журись, дивчина, все проходит!..» А Тамаре легче стало.

— Иван Евгеньевич, какой вы... хороший!

— Гарный день був, когда маты родила...— рассмеялся польщенный Гопак.

— Вы такой необыкновенный и... веселый! Я даже завидую вам...

Тамара и в самом деле завидовала веселым и беспечным людям. Сама она быть такой не умела. Она часто хмурилась — и сама не знала почему: а если не хмурилась, то просто молчала. Павел поначалу никак не мог привыкнуть к этому: думая, что Тамара сердится, он мучился, тщетно доискивался причины, а в конце концов, и сам замыкался...

Гопак пригласил Тамару к себе в мастерскую. Она было отказалась, но тем же вечером, выйдя из цеха и смешавшись с густой толпой спешивших домой людей, вдруг подумала: «А может быть, зайти? Павлик дома, посидит с Юрчей...» И, не колеблясь больше, свернула к одноэтажному дому из красного, рдеющего на вечернем солнце кирпича,— там временно разместили экспериментальную мастерскую отдела главного технолога.

— Извини, Томочка, я одну секунду! — Гопак, улыбнувшись, кивнул ей и опять задумался над разрисованной четвертушкой ватмана.

Тамара не решилась сесть. Она всегда стеснялась в присутствии Гопака, а сейчас в его рабочей комнате — особенно. Впрочем, это была не комната, а маленькая веранда: вместо стен — застекленные оконные переплеты, наклонный потолок — крыша. Обилие солнца, разбросанные всюду карандаши и ватман делали веранду похожей на мастерскую художника. Владел верандой Гопак один — остальные ютились в трех заставленных оборудованием комнатушках. Ему, по-видимому, как и художникам, требовалось одиночество...

Еще раз черкнув в эскизе, Иван Евгеньевич шумно, обеими ладонями, хватил по столу:

— Пор-рядок!.. А ты чего не садишься? Сади-ись!

Тамара села, и Гопак протянул ей эскиз.

— Понимаешь?

Она долго вглядывалась во множество стремительных линий, уверенно начерченные окружности, но так и не догадалась, что бы это могло быть. Отдаленно напоминало велосипед... Но не велосипеды же конструирует Иван Евгеньевич!

— Не разберешь?

— Нет...

— Плохо!.. Я тебе скажу: это величайшее изобретение нашего времени! Ладно, в натуре потом покажу, увидишь... Да и все увидят! А чертежи тебе надо уметь читать...

— Я умею, да только плохо!

— Надо, надо обязательно. Пригодится. Я, знаешь, Томочка, думаю, что в тебе...— Гопак сделал паузу и очень внимательно посмотрел на молодую женщину,— в тебе что-то есть! Ты сможешь многого добиться... Сидисиди! Но учиться надо, понимаешь?

— Я и хочу учиться, Иван Евгеньевич!.. У меня же всего семь классов. В техникум пойду...

Гопак отмахнулся:

— Что техникум!.. Ученых много — умных мало. У меня тоже семь классов...

— Тоже семь?!

Тамара замолчала, несколько огорошенная словами Ивана Евгеньевича. Он был первый в ее жизни человек, который не советовал поступать в техникум, институт...

— Зачем? Все это пустая формальность, Томочка!

Тамаре захотелось возразить, она даже успела заметить рассудительно:

— Но ведь диплом тоже нужен...

— Ах, что ты, Томочка! — сразу же перебил Гопак.— Не в дипломе же дело! Можно остаться рабочим... Это лучше. Ты знаешь...

«Не так я выразилась,— пожалела Тамара,— не диплом, конечно, важен, а знания...» Однако поправляться и спорить не стала: сидела, послушно кивая и в то же время мучительно краснея от внутреннего несогласия.

За дощатой стенкой затрезвонил телефон. Гопак, оборвав себя на полуслове, вышел. Полная горячих мыслей, Тамара не слышала, о чем он говорил. Донеслись до нее лишь последние слова: «Честное пионерское, к завтраму сделаю. Обязательно!..» Директор, наверное, звонит,— подумала Тамара. Ей казалось, что с известным Гопаком из заводского начальства может говорить только сам Окулов. Вспомнив, как бледнела сегодня перед Окуловым, устыдилась: «И чего я так его боюсь? Вон, Иван Евгеньевич как разговаривает!..»

— Черт его знает: торопят и торопят. Будто у Гопака восемь рук! — возмутился тот, снова появившись на веранде. На небритом лице выступили капельки пота.

— А что нужно?

— Электроискровой, хай ему!..

— Так вы же давно сдали его.

— Как сдал? Второй вариант работаю! С первым-то намучился, а сейчас еще и второй подавай! А с первым, знаешь, как было?

Тамара кивнула. Правду сказать, она не знала. Ей хотелось, чтобы Иван Евгеньевич продолжал прежний разговор — это было интересно,— но Гопак, уже увлеченный воспоминаниями, стал рассказывать о станке.

Лет пять назад завод получил срочный заказ — изготовить фильтры для химической промышленности. Такой заказ не ждали и готовы к нему не были. Директор тогда мобилизовал главного технолога, а тот, в свою очередь — Гопака... В результате Иван Евгеньевич засел за конструирование станка, без которого мельчайшие отверстия в заказанном металлическом фильтре не пробьешь.

Провозился он месяца три-четыре. Спешка была страшная: чертежей в мастерской не ждали, прямо по эскизам, набросанным Гопаком, вытачивали детали. И все же станок удался!

Иван Евгеньевич достиг тогда вершины своей изобретательской славы: о нем много говорили и печатали статей, а главный технолог Жиляев написал специальную брошюру «Изобретатель-самоучка И. Гопак».

— А нынче, Иван Евгеньевич, еще заказ получили?

— Бога-атый!.. И опять ко мне. А мне и без станка дел хватит...

Гопак вроде бы смутился на последних словах. Неловко перегнувшись со стула, он долго нащупывал на полу оброненный карандаш, так и не найдя, выпрямился.

— Я, понятно, сделаю, просят раз...— задумчиво проговорил он и, явно сожалея, свернул эскиз с «велосипедом».— Кому же еще делать?

«Некому. Ученых много — умных мало...» — отметила про себя Тамара и снова позавидовала Гопаку. А тот, будто встряхнувшись, сразу переменил тему разговоров:

— Дома плохо, да? Может быть, Томочка, помочь чем?

В голосе его прозвучало такое искреннее участие, что сердце Тамары сжалось и она исполнилась еще большей признательности к изобретателю.

— Спасибо, Иван Евгеньевич!..

XII

И не раз, и не два после этого встречалась Тамара с Гопаком. Встречалась и на заводе, и у него дома. В эти короткие часы она отдыхала от семейных мелочных забот, капризного плача маленького Юрчи, укоризненного молчания Павла.

Конечно, не только естественное желание отдохнуть было причииой частых встреч с Иваиом Евгеньевичем. Будь так, Тамара, навериое бы, ие позволила себе забрасывать семью даже и иа эти короткие часы. Просто ее очеиь тяиуло к Гопаку. Всякого же влечет к иитересным людям!

А с Иваиом Евгеиьевичем было иитересио. Он ие походил иа других, и это особеиио приманивало к иему любозиательиую Тамару. Больше того, если прибегиуть к громким словам, Гопак стал для иее идеалом. Оиа, как и он, тоже хотела сделать в жизии что-то заметиое и быть тоже уважаемым человеком. «Светом в окошке» со времеием стал для Тамары Иваи Евгеньевич.

Оиа любила бывать в мастерской, видеть его, увлечеииого работой. В трудиые дни — оии, правда, были редки,— когда у Гопака что-то не клеилось, ои вышагивал по мастерской озабочениый, непривычио хмурый. На шутки тех, кто работал с иим, отвечал, смеясь лишь одим ртом, глаза же, большие и чериые, задумчиво стыли под густыми бровями. В такие дии Тамара лишь издали иаблюдала за иим, близко подойти ие осмеливалась.

Хорошо было и дома у Ивана Евгеиьевича. Жил он в громадиом иовом здаиии напротив заводской проходиой, в квартире с окиами иа зеленый парк. Виизу, между домом и парком, расстилалась широкая улица. На улице день-деиьской весело перезваиивались трамваи, а когда дождь смачивал асфальт, вся оиа долго блестела, как лакированиая.

Тамару поразила богатая обстаиовка квартиры Иваиа Евгеиьевича: узорчатые ковры на полу и на стенах, искристый сервait, новенький, без едииой царапинки, рояль, крытые жарким алым бархатом диван и полукресла. После избушки иа курьих иожках она, бывая у Гопаков, пугалась этой роскоши и... сильио желала ее.

Да, Тамара очень хотела, чтобы в ее доме была такая же чудесная мебель н такие же чудесные ковры. Если бы все это было недосягаемо, так как, скажем ее путешествне на Марс, она бы, конечно, н не мечтала... Но ведь возможна же такая и у меня жизнь! Разве Иван Евгеньевич не был когда-то таким же простым токарем, как она сейчас? Был. Но он добивался и добнвался своего. И она добьется!..

Гопак подогревал ее мечты.

— Главное, Томочка, чтобы в жнзни была поставлена цель! — сказал он однажды после чая, усадив ее рядом на диван и закурив папиросу. (Прн этом Иван Евгеньевич оглянулся на дверь — Женя запрещала ему курнть в квартире.) — Поставишь цель н идн к ней. Да не сбивайся! Я о себе скажу... В двадцатых годах еще, когда в Харькове работал, захотелось мне нз мастерских своих уйти, на большой завод попасть. Уйти-то ушел, а на завод не прнннмают: тяжеленько тогда было устроиться. Что делать, побежал на бнржу труда — были тогда такие. Неделю ждал вакансин... Нету! А со мной еще приятель один ходил — Мишка Зверков, лекальщик. Тоже зря штиблеты топтал — н ему места не было. Я-то набрался терпения, жду — нн на шаг от бнржн! А Мишка мой нет: покрутнтся, покрутнтся да и скроется в нензвестном направлении. Однажды только отбежал он, а тут объявление выкинулн: лекальщнк требуется! Я сразу — к столу. Меня приняли... Так н добнлся своего. А сколько ждал! Вот что значит, когда цель!..

— А как же? — не поняла Тамара.— Ведь не лекальщнк вы, Иван Евгеньевнч?

— Я все спецнальности знаю,— уклончиво ответнл Гопак.— А потом... Потом рнск во всяком деле нужен! Конечно, не был я тогда лекальщнком. Но ведь не растерялся! Когда на нспытание дали мне шаблон выточить,

я одному старику червонец сунул — он и помог мне. А потом я уж сам. Сам, своей головой, доходил до дела. Не подводила она пока, голова-то моя!.. И тогда на заводе мною довольны были. Я у них в лотерее по рационализаторству все выигрыши забирал, первым был. Я им потом лучший инструмент изготовил, прибор такой, с точностью до одной тысячной миллиметра детали измерял. Мне за него восьмой разряд присвоили, а нарком именные часы прислал... Да ты посмотри сама: много у меня этих... знаков отличия!..

Гопак открыл самодельный сейф-шкатулку и показал Тамаре пожелтевшие Почетные грамоты, пригласительные билеты на давно состоявшиеся важные собрания, разные мандаты и удостоверения.

— А часов нет. Потерял во время эвакуации. Жаль, хорошие были часы. Мишке Зверкову такие бы не дали...

— А он-то как?

— Кто?

— Зверков ваш...— Тамара почему-то все время, пока слушала Гопака, думала о его неудачливом приятеле.— Вы же заняли его место.

Иван Евгеньевич резко вскинул седеющую голову, удивился... подумав, махнул рукой:

— А ну его! Устроился где-нибудь... Пожалела, что ли?

— Не пожалела,— упрямо продолжала Тамара,— а все же нечестно это...

— Нечестно? А ты с Чекиным?

— Что с Чекиным?

— Ты не хитри, не хитри со мной, девочка! Знаю ведь я, как ты обвела старика вокруг пальчика — вот этого ма-аленького... Сам помогал, потому и знаю.

— Так честно же я!

— А я, что, Зверкова — не честно? Все мы честные!..

И снова, как тогда в мастерской, Тамара не стала спорить с Иваном Евгеньевичем. Ей вспомнился Чекин — бледный и растерянный,— каким тот был у Поставничева в день появления статьи. Сейчас почему-то стало жаль его: неужели она в чем-то была неправа и незаслуженно обидела старика?

Не поднимая зарумянившегося лица, Тамара продолжала перебирать «боевые реликвии» хозяина. Сама собой задержалась в пальцах красноватая книжечка. «Авторское свидетельство» — вытиснено на тоненьком переплете. Книжечек несколько. В одной говорилось, что И. Е. Гопаку принадлежит изобретение «доводочного стакана и механической руки к нему», из другой можно было узнать, что Иван Евгеньевич сконструировал «приспособление для проточки уплотняющих канавок в трубчатых решетках теплообменника», в третьей... Славные книжечки! Тамара многое бы отдала, чтобы получить хоть одну такую...

Гопак, заметив, как слегка вздрагивают Тамарины пальцы, зажавшие удостоверение, успокоил:

— Не журись, дивчина! Будут и у тебя такие корочки!..

Редко-редко в таких разговорах участвовала Женя. Приходила она обычно поздно — во Дворце культуры готовили новый спектакль,— приходила и сразу же валилась на тахту. Лежала подолгу и молчала, прикрыв узкой ладонью глаза.

Как-то в такую минуту Тамара случайно взглянула на нее и... испугалась. Ей показалось, что сквозь розовые Женины пальцы смотрят на нее ненавидящие, злые глаза. «Неужели ревнует?» — заподозрила она, но тут же постаралась отогнать нелепую мысль.

И, действительно, подозрения оказались напрасными.

Буквально через несколько секунд Женя поднялась и, потянувшись, проговорила мечтательно:

— Мне бы роль Ларисы... Я бы так сыграла, так... в точности, как Алисова!

Тамара, уже успокоившаяся, подивилась: «Почему, как Алисова? Почему, как кто-то, а не по-своему?..»

Гопак словно угадал Тамарины мысли и возразил:

— А ты, Женюрка, так сыграй, как никто еще не играл!

— Много ты понимаешь! — презрительно усмехнулась она и добавила, повторив чьи-то слова: — Ничто не ново под луной, все краденo... Все!

И вообще — со временем Тамара убедилась в этом,— дома Женя вела себя иначе, чем на людях. Здесь она была молчаливее, неприветливее, даже грубее. Случалось, она прикрикивала на Ивана Евгеньевича, и Тамаре тогда делалось жалко его... Она быстро собиралась и уходила. Уходила к маленькому Юрче, о котором, как бы ни был полон впечатлений вечер, она, кажется, не забывала ни на минутку.

XIII

И в «избушке на курьих ножках» все оставалось попрежнему. Дни тянулись серенькие и одинаковые, как доски в заборе...

Как-то утром Тамара проснулась в особенно плохом настроении. Она еще не открыла глаза, а уже догадалась, что нет сегодня ни солнца, ни вчерашней бездонной сини над головой... Поморщившись, вытянула из-под теплого мужнина плеча разметавшиеся волосы, встала и начала вяло одеваться.

— Времени много, Томка? — зарываясь головой в подушки, спросил Павел.

— Седьмой!

— А-а, вставать пора!..

Все было так противно сейчас: и неприбранная постель, и линялая клеенка на столе, и зевающий муж, что Тамаре захотелось заплакать, бросить все и бежать. Если и не бежать, то просто выйти из дому на улицу. Но ведь и там не лучше. Серые тучи провисают над хмурой землей, сбитая дождем прохладная серая пыль коробится на дороге...

Тамара зябко повела плечами, плотнее запахнулась в короткий фланелевый халатик и пошла к Юрче.

Он еще спал. Розовая ручонка просунулась в отверстие деревянной кроватной решетки и повисла над истертым полом. И только он, Юрча, вид его раскрасневшейся ото сна пухлой и милой мордочки чуть расшевелил Тамару: внутри, в сердце знакомо всколыхнулась горячая волна любви к сыну. Она, наклонившись, долго смотрела на мальчугана:

— Ух ты, любый мой, любый!..

Прошлепал из кухни босой Павел.

— Позавтракать есть чего?

— Сейчас.

Несмотря на ранний час, ел он с аппетитом уже хорошо поработавшего человека: широко расставив голые локти, энергично орудовал вилкой, и румяные картофельные кружочки с хрустом разламывались в крепких зубах. У Тамары, глядя на мужа, тоже засосало под ложечкой. Павел будто догадался — предложил:

— Подсаживайся.

— Не хочу я...

— А то поешь.

— Сказала — не хочу!..

Павел только вздохнул, нахмурившись:

— И что с тобой делается, Томка, не пойму!..

Не ответнв, Тамара вышла во двор,— сейчас, в непогоду, какой-то весь старый н неуютный,— села на ннзкое крылечко, подперев ладошками упрямый подбородок, и просидела так, пока ие ушел на работу Павел и ие проснулся Юрча. Она думала. О чем — н самой трудио вспомнить. Просто ие нравилась ей собствеиная жизнь... Не иравилась, и все! Скучиая жнзнь и, правда, серая, как забор. Редко-редко отыщешь пролом в этом заборе, загляиешь в него, а там — счастлнвая жизнь, счастливые и красивые люди...

О многом передумала Тамара в тот не по-летиему хмурый н холодный день. И потом — бежала ли она в хлебный, бросив Юрчу на попечение Фроси, билась ли над мятым корытом, выстнрывая из спецовки копоть, топталась лн возле печн, приготовляя обед,— невеселые н уже надоевшие мысли не отставали.

К полудню устала. Побалнвалн натертые грубой мокрой ткаиью руки, ломнло от беготии под коленками. Когда все дела были переделаиы, а Юрча уснул, Тамара постлала иа суидук бабушкину шаль н прилегла. Засиуть, иесмотря на усталость, все же не могла: ворочалась с боку на бок, вмнная в шаль жестяные сундучные полоскн; потом вдруг вскочила н — к столу. Там, под лииялой клееикой, былн у нее упрятаны листки с эскизами...

Что это? А где эскнзы?.. Вот они! Страино, тетрадиые листкн лежали с другого края стола. Зиачит, снова Павлик нашел нх. И что ему только нужио? Везде нос сует! Она же спецнально переложнла эскнзы с полкн под клеенку, потому что вндела, как однажды он с любопытством рассматрнвал ее почеркушкн. Зачем подглядывать, если Тамара не хочет этого? Ну, да ладно... Не стонт портить себе нервы нз-за пустяков!..

Все последнее время, с того самого дня, когда директор Окулов заходил на участок, Тамаре не давало по-

коя его предложение. Она думала, терпеливо искала возможность резко повысить выработку на своем «ДИПе».

Основная деталь, которая шла через ее руки уже месяца два-три, значилась в нарядах под номером 024 786. Сделать приспособление для обточки именно этой детали и решила Тамара. Решить-то решила, а как и что — было совсем неясно. Раза два забегала она в техническую библиотеку, но ничего там не нашла. С Гопаком советоваться не стала, неудобно всякий раз просить помощи. Одним словом, все пришлось делать самостоятельно.

— Если диаметр равен ста двадцати,— склонившись над столом, шептала Тамара,— а оборотов шпинделю задать пятьсот, то получится...

Сейчас Тамара походила на старательную школьницу, которой задали трудный урок и которая остается твердой в решении выполнить его.

Конец многодневному уроку был близок. Будущее приспособление уже вырисовывалось и в воображении, и на смятых листках. Оно должно сгодиться на нескольких операциях по обработке детали № 024786, и на каждой операции экономится золотое время. Одним словом, эта новинка соберет золотую пыльцу сразу в нескольких местах, как пчела... Тамара так и окрестила ее: «пчелка».

«Только не ошибиться бы в расчетах!.. Что-то не верится. Неужели наврала?» Набросанные карандашом серенькие цифры вдруг показали, что «пчелка» сокращает время операции в шесть раз! В шесть? Да. Тамара проверила снова — и снова тот же результат. Серенькие цифры теперь уже не казались серенькими: они пламенели, их написали огнем!..

Да что цифры! Тамара подняла легкую пылающую голову и вдруг не увидела ничего такого, что еще час назад отравляло ей настроение: ни старого сундука с надломленными во многих местах жестяными полосками, ни

истертого пола, ии «бедиой» Юричиой кроватки... Недавние горькие мысли показались ей сейчас пустяшиыми, и даже стало смешио, что оиа так переживала. Стоит ли? Разве можио сравнить все это с тем, что лежит сейчас перед иею в лиииях и цифрах? Вот оио — главиое!..

На языке поэтов такое состояиие человека иазывается вдохиовеиием. Прекрасиое состояиие! Жаль одио — измеряется оио во времеии ие годами или человеческой жизиью, а часами и даже миiиутами... А потом? Потом возвращается прежнее иастроеиие. Может оио быть и хуже прежиего.

XIV

Домой Тамара вериулась поздио. С трудом отжав дверцу машииы, оиа, красиея, поклоиилась сидевшему за рулем Гопаку.

— Спасибо вам, Иваи Евгеиьевич!.. И до свидаиия!

— До свидаиьица, до свидаиьица, Томочка! — и Гопак иеуклюже повериулся иа передием сидеиье, протяиул ей мягкую ладоиь.— Заглядывай к нам, ие стесняйся...

Озябшие Тамариiы пальцы сразу согрелись в мужской руке, и ие хотелось выиимать их. Но, огляиувшись иа темиые окиа домишка, где ее ждали, оиа сделала усилие и высвободилась.

— Я пошла... Привет Жеие, Иваи Евгеиьевич!

— Передам. Так ие забудь: в воскресеиье поедем...

— Хорошо.

В узком чуртаиском переулке по вечерам совсем темио: фоиарей иет, а окиа по стариике закрываются ставнями. Только иа углу, где живет иижеиер Ребров, ставии еще открыты, и иа жухлую траву перед домом, иа лужицу в канаве падают ярко-желтые блики света.

Прижимаясь щекой к холодиому кольцу калнткн, вдыхая знакомый запах отсыревшего дерева, Тамара смотрела вслед машнне. Вот она пересекла ярко-желтые отблескн ребровских окои н заколыхалась на избнтой дороге. Вот она скрылась. Скрылась, унося от Тамары тепло н маленькне радостн сегодняшнего вечера.

Теперь ей предстонт серьезный разговор с мужем. Нет, не только потому, что уже поздно, а Тамара давно обещала быть дома... О многом должен быть разговор!

Пряча в карманах пальто рукн, снова озябшне от прикосновення к ледяному кольцу калитки, она перебежала мокрый двор, толкнула тяжелую дверь. Дверь подалась, со скрипом отъехала в черноту сеией.

В доме было тнхо. Юрча спал, положив кулачок на цветастую подушку. Павел же, засев на кухне, выстругнвал сыну нгрушку. Зашла Тамара — и он еще угрюмее иабычнлся; натяиулась лииялая рубашка на шнрокой спнне. Не подымая голову, спроснл:

— Ужниала? Еслн нет, то вон — на плнтке!..

Она размотала запотевшее полотенце на громадной кастрюле, прноткрыла крышку — н сразу ударнл привычиый и вкусный-вкусиый запах щей, как всегда мастерски сваренных Павлом. Но есть не хотелось — чудесный «иаполеон» за чаем у Гопаков заглушил аппетнт,— и Тамара, подумав, снова захлопнула кастрюлю, а еще подумав, отнесла ее в холодные сеии.

Муж на это ничего не сказал, но по лнцу было заметно, что ему жаль напрасных своих трудов. Он только кашлянул глухо н еще сосредоточеннее занялся игрушкой.

— Павлнк! — прнсев на табуретку позвала Тамара.

— Ну?

— Знаешь, Павлнк? Я больше так жнть не могу...— Она колупнула шляпку гвоздя на табуретке, подняла голову н... встретила насмешливо-удивленный взгляд Павла.

— Понимаешь ты... Понимаешь, Павлик, не так мы живем... Очень уж как-то серо, невесело!

— Ну-иу!..

— Подожди, ие перебивай, пожалуйста! А посмотри, как живут, к примеру...

— ...Гопаки?

Белесые Тамарины брови вскииулись в изумлеиии. Но тут же она продолжала воииствеиио:

— Хотя бы!.. И не смейся, пожалуйста! Разве это плохо? Скажи: плохо? Ои такой же, как и ты, а живет по-другому...

— Значит, не такой, раз живет по-другому...

— Не глупи, Павлик!

— Да потише ты! — иахмурился он, кивнув на дверь, за которой спал Юрча.— Разбудишь!

— Я же тихо.

— Слышу!.. Кстати, и ты послушай. Говоришь: плохо живем. Так? Что мы... голодом сидим? Раздеты-разуты?

— Но ведь можно лучше!..

— Эх, ие понимаешь ты, Томка!..

— Понимаю. Не дура!

— Не-е...— поморщился Павел.— Ты-то у меня не дура! Это я не так выразился. Ты все поиимаешь, только... В общем, давай спокойио поговорим, разложим по пунктам...

— Нужны мне твои пункты!

— Ладио, ладио! Так, во-первых, Гопак работает уже лет двадцать, зиачит, кое-что подкопил. Во-вторых... Во-вторых, он необезиоживал, как я, и полгода в постели не валялся...

— Да знаю я!..

— А, в-третьих, Гопак, так сказать, поставлен в особые условия: числится работягой, а имеет отдельный ка-

бинет. Только секретарши не хватает... Погоди-погоди, и четвертое есть! Дай досказать!.. В-четвертых, он не прочь подхалтурить: наладить, скажем, товарищу телевизор, и не постесняться взять за это гроши...

— Неправда! — пристукнула кулачком Тамара.— Все, все ты наговариваешь на Ивана Евгеньевича!.. Все твои пунктики ничегошеньки не стоят. Да-да!..

— Тише-тише!

Тамара снизила голос до шепота, но остановиться, замолчать не могла. Даже шепотом она, казалось, кричала. Злые, несогласные слова выливались непрошенно и обидно для Павла. Она сознавала, что говорит грубо, резко, что не нужно бы так говорить, и все же упрямо продолжала. Гопак работает двадцать лет? Ну и что! Он пережил эвакуацию, и у него вторая семья, второй дом!.. Иван Евгеньевич берет деньги с товарищей? Нет! Помогал же он бескорыстно ей, Тамаре!..

— Ты узнай, узнай его поближе! И поучись у него!.. Иван Евгеньевич так-кой, так-кой человек! Не то, что твои Переметовы, не то, что ты! Ты даже в ясли своего сына устроить не можешь,— руки мне развязать. А знаешь, чтобы я тогда могла сделать, знаешь? Ничего ты не знаешь!..

Тамара все больше распалялась, пока угрюмо молчавший все время Павел вдруг не рассмеялся и не махнул рукой:

— Да ладно уж, убедила... Будет на сегодня, а?

Он подошел к жене, сжал в ладонях ее сильные горячие плечи.

— Уйди-и, Павлик!..

— Ну, будет, Томка, будет! Послушай, что я тебе скажу...— его мягкие ласковые губы, касаясь вспыхнувшей вдруг Тамариной щеки, настойчиво шептали что-то и... успокаивали.

...К часу ночи в курасовской избушке на курьих ножках установился полный мир.
Надолго ли?

XV

Мелкие в летнюю сушь воды Каменки сыплются и сыплются непонятно откуда. Впрочем, чужаку непонятно... А Тамара знает: во-он с тех дальних гор!.. Они кряжисто осели на землю и жарят-жарят на солнце каменистые плешины.

Здесь, у подножия оплывшего Буран-Камня, речушку видно всего шагов на двести; пенясь, выныривает она из-под комковатого обрыва, бойко всплескивает на рыжих валунах и — раз! — и скрывается за прибрежным кустарником.

И куда петляет речушка, Тамара тоже знает. Нет здесь для нее тайн. Ее дед — старатель — ходил-переходил эти берега: кайлил в камнях глубокие шурфы. Когда он совсем стал стар и не работал уже, все равно часто бродил по глухомани, нахваливая внучке редкостной красоты места...

Нет здесь тайн для Тамары. Здесь ее дом. Светлая кипень горной речушки, прозрачные, прошитые солнцем дали — все это ее владения, здесь она царица!..

Реченька-речка,
Чистая водица...—

тихонько пропела Тамара, и сама не заметила, как сложились в песню бездумные слова:

Ой, болит сердечко
У твоей царицы.

Она осторожно ступила в холодную воду и, балансируя, вдавливая босыми ногами в дно скользкую гальку, побрела к близкому противоположному берегу. На бледном татарском лице ее, на голых руках, на цветах дешевенького платья играли водяные блики. Пахучий ветер, шевеля прибрежный пихтарник, ударял в лицо, высушивая капельки пота на лбу, туже обтягивал платье, отчеркивая по-прежнему остренькие груди и круглые коленки.

Реченька-речка,
Чистая водица...

Добредя до ржавого, в брызгах, валуна, Тамара остановилась и, поправив разметанные ветром волосы, вынула из кармашка сухой обмылок. Приступив на валун, она с удовольствием намылила загорелые щиколотки, розовую, чуть припухшую от уколов подводных камешков пятку и, вздрагивая почему-то, протерла слежавшиеся в тесной туфле пальцы; под ногтем большого — черное пятнышко: неделю назад Тамара, снимая со станка увесистую деталь (ту же самую — 024 786!), уронила ее себе на ногу... От валуна разлетелись брызги, и на светлых бровях, в ямочке упругого подбородка чаще и чаще оседали прохладные капли. Попала вода и на платье: влажные пятна быстро расползались по застиранным цветам, приятно холодили тело.

«Выкупаюсь!» — решила Тамара. Не раздумывая больше, она сбросила платье, майку и, придавив их поднятым со дна камнем, оставила на валуне.

— Ой, хорошо-о! — всхлипнув, засмеялась она, ощутив голыми плечами, грудью, всем легким и свободным телом и солнечное тепло, и мягкий ветер, и щекочущие прохладные брызги.

— Я твоя цари-ца!..

Царица Тамара!.. А кто же Демон? Ее Павлик? Тамара на миг представила косолапого нехитрого мужа в роли Демона-искусителя и весело фыркнула. А Иван Евгеньевич? Женщина призадумалась, стаяла с губ бездумная улыбка... Нет, у Гопака своя Тамара! Настоящая красавица, не чета... Тамара наклонилась к воде, но так и не разглядела себя в солнечной кипени.

И все же... И все же он, Иван Евгеньевич, ее «искуситель»! Появился он, и перевернулась жизнь у Тамары. Не так стала думать, работать не так. Мечтать стала!..

Искуситель, Демон... Да какой же Демон! Это же совсем из другой оперы! Не было у царицы Тамары Демона. Нет его и у Тамары Курасовой...

За спиной зашуршала галька. Женщина вздрогнула, спрятав в ладони маленькие груди, резко обернулась:

— Вы? Как... не совестно!

На берегу, затолкав кулаки в карманы парусиновых брюк и выпятив живот, покачивался актер Орехов.

— Юрий Арнольдович, как не стыдно!

— У вас чудесный загар, Томочка! Почему вы сердитесь?

У Тамары закружилась голова. Она сорвалась в гневе, закричала, как недавно в цехе на тихоню наладчика:

— Убирайтесь! Или я...

Брови Орехова изумленно поползли вверх, к жиденькой шевелюре:

— Напрасно вы, Томочка! Напра... Ухожу-ухожу! — замахал он пухлыми руками.

Вот так и бывает. Все было хорошо: и солнце, и веселая дорога сюда на «Победе», и то, что Павлик, наконец, не отказался провести время с Гопаком — Тамаре даже удалось отправить их вдвоем на шихан... И все испорчено.

Поспешно одеваясь, Тамара кляла на чем свет стоит и Орехова, и себя за грубость, и все, все...

«Зачем только Иван Евгеньевич, Женя водятся с такими! — с горечью думала она и потом, выбираясь по тропинке, усеянной шишками-растопырками, на поляну, где «разбили лагерь» Гопаки.— Что они в нем нашли! Артист!»

— Тама-ара!..

С шихана, скользя подошвами по шлифованным дождями и ветрами каменьям, торопливо спускался Павел.

— Отшила? Ну и молодчага! — тяжело, с хрипотцой дыша, сказал он.— Я все видел, но опоздал. Не опоздал бы — так прямо с обрыва этого брюханчика!..

— Опять следишь за мной? Хорошо-о же!.. Где Иван Евгеньевич?

— Там! — Павел небрежно махнул рукой на шихан.— На солнышке греется... Разбежались мы с ним!

— К-как разбежались?

— Ну так, обыкновенно... Разругались. Во мнениях не сошлись. Я ему одно, он мне другое. Наорал еще!.. В общем, разругались. Я ему все высказал...

— Что?

— Все. И про тебя. Ты не думай, что если я молчу, так ничего не вижу и не знаю. Я все знаю. Мне твоя Фрося уши прожужжала! И Женя тоже сегодня намекнула...

— Что?!

— С Гопаком у тебя...

— Павлик!..

Павел даже вздрогнул: так резко и зло оборвала его Тамара. Отведя шершавой ладонью колючую сосновую ветку, он испуганно вглядывался в исказившееся лицо жены, в сухие, зло прищуренные глаза любимой. Он протянул укоризненно и даже как-то по-детски:

— Ну, чего ты, Томка!..

— Уйди!.. Не хочу тебя видеть!

— Ну, То-омочка!..

Оттолкнув мужа,— колючая ветка больно резанула ее по щеке,— Тамара стремглав броснлась к поляне.

XVI

После выезда на Каменку семейная жнзнь Курасовых пошла совсем наперекосяк. Супругн не разговарнвали. Теперь даже дома онн старалнсь вндеться как можно реже. Если наблюдать за нимн со стороны — смешно (недаром на Чуртанке говорят: «Чужое горе — людям смех»). А Тамаре н Павлу отнюдь не было весело.

Павел ходил туча тучей. Коричневые от загара и копотн скулы обострнлнсь и обручем подпнралн хмурое лицо. Тамара же стала необыкновенно рассеянной. Она выбегала из кухни за чем-ннбудь н вдруг останавлнвалась посреди комнаты, не могла вспомнить: зачем прншла?.. Однажды, купив в цеховом буфете бутерброды, она не взяла сдачу с пяти рублей, и пожнлая буфетчица Разгуляева потом с ног сбнлась, разыскнвая «беленькую такую татарочку»...

Семейная жнзнь стала черной, полной недоверня. Сколько так может продолжаться? И Тамара надумала: «Ну его, пусть уходнт! Чем так жить, лучше одна буду... Не я первая, не я последняя! А Юрчу выкормлю, воспнтаю... Достанет снл!»

Надумать-то надумала, но сказать Павлу все же не решалась. Посоветоваться бы ей с кем! Раскрыть бы душу свою до донышка! А перед кем? Не было рядом такого человека. Не станешь же с Переметовым говорнть нли с Симкой Тарабеевой! Не будет от того толку: все Павлика дружки... С Иваном Евгеньевнчем еслн? Неудобно, да и не до этого ему — неприятности. Он так н не сдал в

срок второй вариаит электроискрового стаика, и ему объявили в приказе по заводу выговор. Тамаре до слез было жалко своего большого друга, оиа в тот день специальио бегала к иему в мастерскую, но не застала.

В коице концов, посоветовалась с Жеией Гопак. За последиие дни Тамара как-то больше сблизилась с иею. Не потому, что Жеия стала поиятией ей или ласковей, а потому, что отсветы Тамариих симпатий к Иваиу Евгеиьевичу падали и иа жеиу его. Павлик говорил про какой-то Жеиии иамек, ио это казалось неправдой: не будет же оиа лить грязь иа своего мужа!.. Тамара постаралась забыть об этом и даже доверила ей эскизы и расчеты «пчелки», над которыми промучилась все лето. Гопаку отдать их оиа постесиялась. И все по той же причиие: не хотелось в трудиое время беспокоить лишиий раз. А вот Жеие отдала. Отдала в иадежде, что та (техиолог все же!) посмотрит «пчелку» и вынесет приговор: быть или ие быть?

— А я тебе что говорила! — воскликиула Жеия, когда однажды Тамара, отведя ее к облуплеииым железиым шкафам, громоздящимся в углу цеха, раскрыла иакоиец душу.— Я что говорила? Не иравится — брось его! Найдешь мужчину приличного вполие и себе пару. Нашла же я Ивана Евгеиьевича!.. А о первом и не жалею...

— А мие своего жалко, Женечка. Хоть и ие люблю больше, а все одио жалко...

— Жалко, так не бросай! — передериула плечиком Жеия.— И переживать тогда не стоит!

Как всегда, Жеия была иевозмутима. В угольио-чериых, облеплеииых мохнатыми ресиицами глазах ее свет был ровиый-ровный и чуть холодиоватый.

«Как все просто и ясио у иее!» — с тоской подумала Тамара, и ей стало стыдио, что сама-то оиа все мечется и мечется, чего-то ищет, иа что-то иадеется, чего-то ждет.

А нужио быть тверже и решительнее. Надумала раз — зиачнт, надо сделать.

«Сделать!..» Это просто сказать. Просто сделать было, кажется, только Жене. А Тамаре трудно, очеиь трудио. Непнсаный кержацки-строгий устав Чуртаикн остаиавлнвал ее, остаиавлнвало н то, как отнесутся в цехе. Оиа, коиечио, мало прислушнвалась к миенню своих заводскнх, но возможиое суровое осуждеине остужало чуточку.

В те лнхне днн, мучаясь понсками ответа иа безжалостиый вопрос, поставлениый жизиью, Тамара все же ие удержалась н однажды, в особеиио тосклнвом настроеннн бредя по расцвеченной закатом улице Ильича, завериула к Гопаку.

Иваи Евгеньевнч в майке, розовый и влажный,— только что нз ваины — широко распахиул перед нею брякнувшую цепочкой дверь.

— Ва-а, Томочка! Давненько же ие была, давие-енько!

— Я иа мииуточку, Иваи Евгеньевич! Здравствуйте. Я только...

— А почему на минуточку? Да посиди со стариком...

Легоиько прндержнвая Тамару за талию, Гопак провел ее в большую комиату, где в этот нюиьскнй вечер распахнуты былн все окна и пламеиел в солиечиом закате мохнатый ковер, усадил иа тахту. Сам он, продолжая балагурить, покрутнлся еще некоторое время по комиате, отыскал и иатяиул иа влажиую майку пижамиую куртку, молниеиосно настронл раднопрнеминк, сделал еще что-то и, наконец, сел; сел рядом, промяв хлипкне пружины так глубоко, что Тамару, как под горку, покатнло к иему...

И тут случнлось иеожнданное. Ощутнв добрую снлу рук, подхвативших ее, почувствовав, как ннкогда, остро крутую перекнпь уважения н любвн к этому человеку,

Тамара совсем по-женски, беззащитно уткнулась ему в грудь.

— Вот и славно, Томочка! — еле слышно шепнул Гопак. Правая рука его с зажатой в пальцах едкой папиросой вдруг больно сдавила ей плечи, а левая властно и непристойно легла на колено.

— Что вы? — вздрогнула Тамара. Сделав резкое усилие, она отстранилась, соскочила с тахты; изумление в широко раскрытых потемневших глазах постепенно сменялось страхом. «Что вы?..»

Ей, никогда не трусившей, сейчас и в самом деле стало страшно. Не за себя, нет. За свою веру в Ивана Евгеньевича. Она смотрела на него, растерянного и красного,— под цвет полосок на пижаме — и не узнавала. Другой человек, казалось, сидел перед ней, другой, похожий на неприятного актера Орехова, на кого-то еще...

Гопак протянул руку — Тамара молча отодвинулась к окну. Иван Евгеньевич встал — Тамара, уже совладавшая с собой, тихо приказала:

— Сидите!..

Гопак не послушался, не сел. Он снова вдруг стал прежним Иваном Евгеньевичем: откинув назад взлохмаченную голову, хохотал:

— Испуга-алась-то как!.. Ой, не могу! Девчонка еще, ну совсем девчонка!..

— Не нужно так делать,— сдвинув строгие бровки, попросила Тамара.— Я ведь... не за этим с вами!

— Знаю, Тамара. Извини меня... И не думай плохо!

Посерьезневший Гопак сделал все, чтобы Тамара забыла про обиду. Она хотела уйти тотчас же, но помешала Женя, внезапно нагрянувшая. Уходить было нельзя, нельзя было и подавать виду. А Иван Евгеньевич, как ни в чем не бывало и будто бы продолжая прежний разговор, распинался:

— Слышишь, Жеиюрка, я думаю, у Тамары впереди — большая дорога! Молодость, талант! Это что-ибудь да зиачит. Верио?

Женя промолчала, а Тамара все же иашла силы спокойио возразить:

— Куда мие! Образование ие позволит.

Гопак ласково рассмеялся:

— А разве я тебе не говорил? Ученых миого — умиых мало. Не в образоваиии, выходит, дело.

Позднее — за чаем, тянувшимся мучительно долго,— Иваи Евгеиьевич, жестикулируя, доказывал, что в наше время быть простым рабочим гораздо почетнее, интересиее и... выгодиее.

— Ра-бо-чий! Кто это такой? Хозяии жизии! Все — для иего, все — к иему иа поклои... Чувствуешь? Разве сравиишь какого-ибудь иижеиеришку с нашим братом? Его и критикуют иа всех собраииях, и по шапке могут дать. А рабочего троиь? Н-ни, боже упаси!..

— Рабочий-рабочий!..— передразиила Жеия, все молчавшая до этой мииуты.— Не особеиио-то надейся иа свое «почетное» звание, могут и тебя по шапке!

Она намекала иа выговор. Тамара поняла это, заметив, как иахмурился сразу Иваи Евгеиьевич и как недобро блеснули его цыгаиские глаза: «Ничего. Мы еще посмотрим!..» И эта быстрая перемена в ием снова иеприятио поразила.

Всю дорогу домой — шла ли оиа потухшей теперь уже главной улицей, мчалась ли в пустом, грохочущем трамвае, высуиув иавстречу ветру разгоряченное лицо,— оставшийся где-то в глубиие души осадок не проходил. Снова и сиова думала оиа о перемеичивом Иваие Евгеиьевиче, страниой Жеие и, конечно, о Павлнке.

XVII

Решительный разговор с Павлом все же состоялся... И начал он.

Однажды, придя со смены и не скинув даже в сенцах спецовку, Павел протопал прямо в комнату.

— Слушай! — неожиданно зло, хриплым голосом бросил он еще с порога.— Что у тебя с Гопаком? Мне надоели сплетни!..

— Ничего...— Тамара, штопавшая у окна Юрчины чулочки, не подняла головы. На порыжелом полу рядом увидела она сапоги подошедшего Павла, а совсем близко, на уровне глаз — большие, вздрагивающие руки.

— Я не верю, Томка... Понимаешь, не вер-рю! Но я хочу знать...

Сердцем Тамара понимала: Павлу сейчас больно, очень больно. И в её силах было облегчить страдания мужа... Но грубый тон, который тот взял сначала, и эти сжатые кулаки запретили сердцу жалеть. Она промолчала.

— Значит, правда!..— медленно, с усилием выдавил Павел.

— ?!

— Дело твое, Тамара, но имей в виду: Юрча в любом случае останется со мной.

— Нет.

— Отдашь.

— Дур-рак!..

Тамара не выдержала и раскричалась. Неестественно выпрямившись, запрокинув голову назад, она кричала, что Павел «испортил ей жизнь», что если бы не он, она давно бы «стала человеком». В другое время она поморщилась бы, увидев со стороны такую сценку, но тогда... Тогда она ничего не замечала. Горе, настоящее горе от

созиаиия, что жизиь рушится и ие совсем даже поиятно, почему, заполиило ее и иа какие-то мгновения лишило рассудка.

Павел, весь побелевший вдруг, молча, ни разу не перебив, выслушал жеиу. Потом также молча ои вышел из комиаты. Тамара, уже иесколько пришедшая в себя, со страхом прислушалась к тому, что делалось в спальие. Вот со скрежетом выдвииулся ящик комода, вот скрипнула крышка суидука... «Уходит?» Сейчас, не смотря на злость свою, даже иенависть к Павлу, оиа уже боялась коица. И только когда грохиуло со звоиом железное кольцо в калитке, оиа чуть-чуть успокоилась: «Вот и все!».

XVIII

В последующие дии Тамара тоже оставалась спокойиой. Ее даже не трогало ворчание старой Фроси, которой сиова пришлось сидеть с Юрчей.

— Все умом своим хочешь жить, девка! — пилила она.— А другой раз и чужого призаиять ие мешает... Взяла шалыгаиа-то в дом, ни словечка никому — и пожалуйста! Ои вои сделал тебе ребеиочка, а сам в кусты... Ты хоть глянь, ие унес ли чего. Облигации-то проверь!..

— Да будет вам, тетя Фрося! — устало отмахивалась Тамара.— Надоело уже, честное слово!..

— А ты слушай, слушай, чего говорят. Ефросииья худого тебе ие советует!..

Нет, слишком уж спокойиой стала Тамара. Скорее безразличной ко всему. Образовалась в ее сердце мучительиая пустота, которую заполиить, казалось, ничто ие могло. Едииствеииое, что волиовало еще — «пчелка»...

О «пчелке» Тамара думала часто. И миого иадежд связывала с иею. Думалось, что одобрит «пчелку» сиа-

чала Женя Гопак, после БРИЗ, а потом уж и... Что потом — Тамара не знала. Но мечталось ей, что именно это «потом» и будет лучше всего. Будет здорово!.. Может так случиться, что признают люди в «кержачке» не просто молоденькую токарницу, которая, правда, работает и неплохо, но звезд с неба никак не хватает, а талант. И хоть на немножечко она приблизится тогда к Гопаку, и жить будет так же, как он — красиво, ярко...

Порой казалось Тамаре, что осуществление мечты ее близко.

И тогда она начинала надоедать Жене, все еще не давшей отзыва о «пчелке».

— Ой, Женечка, нет моих сил больше ждать! — жаловалась она, поймав Гопачку где-нибудь в цехе.— Скоро ли?

— Скоро, скоро, товарищ рационализатор! Сама же понимаешь: премьера — ну, буквально на носу!..

— Ивану Евгеньевичу дай посмотреть, если самой некогда...

Женя вздыхала:

— Занят. Очень занят сейчас Иван Евгеньевич. С директором у него отношения испортились... и что-то делать надо, выправлять как-то положение! Хотела я его в деревню за яичками послать, да и то пришлось отложить... Очень, в общем, занят.

— А как же быть?

— Да не беспокойся ты! Я обязательно посмотрю. Смыслю же я в этом! — Женя кокетливо улыбнулась, показав чудесные голубоватые зубки.— А потом... Потом, помнишь, говорили на последнем собрании, что молодые технологи должны взять шефство над молодыми рационализаторами. Не так ли?

— Конечно, Женечка, я понимаю... Ты так-кая хорошая! Да... да...

* * *

Недели через две Женя вернула, наконец, чертежи «пчелки».

— Ничего! Грамотно сделано, поздравляю! — сдержанно похвалила она.

— Правда? — вся вспыхнула, засияла обрадованная Тамара.— Правда, Женечка?..

Женя не улыбнулась в ответ. Она вдруг замолчала, словно обдумывая что-то. У Тамары в предчувствии недоброго тревожно замерло сердце.

— Но я бы тебе посоветовала,— холодно продолжала Женя,— не подавать в БРИЗ это предложение.

— Не пода-авать? — серые Тамарины глаза испуганно округлились, острые реснички вздрогнули.— Почему не подавать?

— А потому, что не ново это. Известно уже. По-моему, описано где-то в литературе...

— В какой литературе?!

— В технической, конечно... Вот поэтому и не нужно подавать.

Тамара в замешательстве отвернулась. Напротив — новенький баллон огнетушителя. На ярко-красном боку его нарисована завлекательная картинка-инструкция. И картинка и нарядный баллон на грязной стене бытовки показались Тамаре совсем никчемными, ненужными здесь. Да и разве могло быть ей еще что-нибудь нужно после Жениного приговора?

— Да-да,— кивнула она печально.— Я понимаю, Женя, понимаю...

В эту минуту Тамара жалела об одном — о мизерном, бедном своем образовании... Была бы образованная, все бы технические журналы перечитала, обо всех бы книжках узнала, где рацпредложения описываются.

— А где написано об этом, Женя? В какой книжке?..

В какой книжке, Гопачка не помнила. Не помнила, но, судя по всему, была уверена, что «пчелка» не новость в технике. Она даже, ласково тронув Тамарин локоть, предупредила, что если та пойдет в БРИЗ, ее там обязательно уличат в плагнате. Женя, наверное, хотела сказать «в краже», но, наверное, пожалела и без того удрученную работницу и сказала как-то непонятно — «в плагнате». Тамара переспросила и, услышав объяснение, опять не нашлась, что сказать, только повторила с грустью:

— Да-да, понимаю я...

В ту минуту ей многое было уже безразлично.

* * *

И все же Тамара пошла в БРИЗ. Пошла, даже сама не зная зачем. Просто истомилась от постоянных тягучих дум, угрызений совести и проклятий в свой адрес. Снова и снова с беспощадностью карателя обвиняла она себя в невежестве, лености и еще, бог знает, в чем. «Открыла Америку! — издевалась она.— В двадцатом веке велосипед изобрела... Дура!»

Но собственные издевки не приносили облегчения. Наоборот,— как ни странно! — они даже вселили в Тамару слабенькую уверенность в том, что... Женя ошибается. Почему она так и не вспомнила название той книги или журнала?

В БРИЗе не задержали с ответом. С некоторых пор, а точнее, после того, как директор Окулов, устав от многочисленных и настойчивых жалоб рационализаторов (за последние годы рационализаторов на заводе стало тысяч десять), разогнал прежний состав бюро и определил новый — из передовых рабочих и инженеров с «творческой жилкой»,— работали там споро. Степан Антонович Ра-

зии, знаменитый чуртанский сталевар, узиав Тамару, дружелюбио забасил:

— Слышал я, смотрел тут, Курасова, твое предложение. Одобрили, говорят... Да не первая ты, вот чего плохо!

Разии сообщил то, чего и ожидала Тамара. И потому, что оиа привыкла уже к этой мысли, или просто говорил ие кто-нибудь, а Разии — человек, который своими делами и даже волгарским оканьем своим всегда иравился Тамаре,— оиа приняла это сообщение спокойио. Даже обрадовалась было, что Степаи Аитонович ие заподозрил ее, как иамекала Жеия, в чем-то плохом. Одиако то, что он сказал мииуткой позже, ударило обухом: ослабевшую от всех иевзгод женщиину качнуло, оиа уцепилась рукой за исчерканный край письмеииого стола.

Разин сказал:

— Гопак тебя опередил. Знаешь Иваиа-то Евгеньевича? Вот он иеделю назад и притащил нам такое же приспособление ...Чуешь?

XIX

Раиьше Тамара засыпала сразу. Раиьше стоило ей разобрать простыии иа громадиой бабушкииой кровати, броситься уставшим до ломоты телом в жаркие бабушкииы перины, как тотчас же все вокруг переставало существовать.

А теперь иет. Теперь подолгу лежит Тамара с открытыми глазами... И все слышит. Слышит, как постаиывает под резкими нахрапами осениего ветра старый дом («избушка на курьих ножках!» — смеялся Павел), как почесывается ветвями голый тополь в палисаднике, как срываются звоикие капли с гвоздя в рукомойиике... Все слышит. И даже порой иарочио прислушивается, чтобы отвлечься, заглушить думы!..

Только не удается. Просачиваются они в сознание упрямо, как дым, и как дым — едкие, черные...

Зачем она поверила Гопаку? Не ей ли говорил Павлик!.. Нет, сама, сама виновата во всем!.. Ну, а Гопак? Ему-то что надо было от нее, простой девчонки? В гости приглашал, на машине катал, телевизор подарил... Зачем? Или еще тогда на «пчелку» целился? Нет, не знал он о ней, не мог знать!.. Значит, просто нравилось, что ходят вокруг, в рот заглядывают. У-у, дура!..

А хитрый он, Иван-то Евгеньевич!.. «Пчелку» после того, как побывала в его руках, и узнать трудно: видоизменил, замаскировал... Предполагала Тамара, что пригодится она лишь на одной детали — 024 786, а Гопак ко всем девяти сериям приспособил. Как же: опытный, талант!..

Ничего, совсем ничего не понимает она в людях... Вот так кержачка! И как не сумела разгадать Гопака? Молилась на него, каждому слову верила... Неужели всегда такой был? Или Женя, красавица Женя, виновата тут? Да кто, кто их разберет!..

Самой бы не стать такой. А ведь хотела... Еще недавно думала: добьется своего — заговорят о ней, и жить будет красиво, ярко... Нет, не будет этого уже... И не надо! Ни за что не надо! Лучше жить, как все живут, как ребята из цеха: и тот же Игорь Переметов, и Аня, и даже Симка Тарабеева и Павлик... Просто они живут и весело. Павлику, правда, невесело. Все ему она испортила!..

Тихо в тесной спаленке, полумрак. Настольная лампочка-«грибок», примощенная у изголовья, вычертила в душной темноте желтый круг. Свет режет утомленные бессонницей глаза, Тамара откатилась к завешенной старым ковром стене, сунула горячие ладони под подушку, лежит, думает о своем.

Здесь, у стенки — место Павлика. Здесь совсем еще

недавно спал он, по привычке уткнувшись в мохнатый ковровый рисунок. Павлик!.. Но почему сегодня он не выходит из головы? Еще несколько дней назад Тамара была так спокойна, и воспоминания о муже почти не волновали ее... А сегодня почему? И почему сегодня ей так... нелегко думать о нем?

Тот, кто любит,
Тот страдает!..

В плохую ночь вспоминались петые на свадьбе «страдания». Частушки, которые в праздничном застолье встречались смехом, сейчас, в маятной предрассветной тишине, когда желанный, как исцеление, сон бежит прочь, а сердце больно колотится в сдавленной упругими подушками груди, совсем не кажутся смешными.

В них — правда.

Эх, Павлик, Павлик!.. В последний раз она видела его позавчера. Он снял со станка Переметова только что выточенную шестеренку и, подбрасывая ее на ладони, что-то говорил Игорю... У Павлика такие сильные и теплые руки, нежно и необидно умели они прикасаться к Тамаре. А глаза у него сейчас грустные... А раньше они разве были грустные? Тамара помнит сумасшедше-отчаянный блеск их в тот поздний вечер, когда Павлик в первый раз целовал ее...

В тот памятный черемушным цветением и ее девичьим счастьем вечер она стала женой Павлика. И никто не знал об этом. Да и кто бы поверил, что «кержачка», которая и улыбаться-то, кажется, не умеет и которую с парнями-то никогда не видели, вдруг очертя голову, не дожидаясь свадьбы, бросится на шею какому-то Курасову! Но так случилось... И решила она, а не он!

В форточку, через приоткрывшийся ставень, сыпанул мокрым холодом осенний ветер. И точно в ответ мигнул

«грибок». Желтый круг на мгновение растаял в темноте и снова вспыхнул, осветив матовые плечи женщины, разметанную на белоснежной подушке мягкую косу. Зябко поежившись, Тамара натянула до подбородка мягкое одеяло и приказала себе: «Спать!»...

Спала она неспокойно. Ей снился пожар. Загорелся Новочуртанский магазин, где в широкой блестящей витрине выставлен велосипед и девочка-кукла, посаженная на седло, без устали крутит педали. Языкастое, беспощадное пламя уже подбиралось к витрине, к девочке, и вот-вот, казалось, вспыхнут ее тоненькие косички, платье... Вдруг девочки не стало,— а на месте ее Тамара. Она не может оторвать ног от педалей, и они крутятся, крутятся... Ей страшно — огонь жжет, ей хочется кричать, но она не кричит, потому что с другой стороны улицы смотрит на нее Иван Евгеньевич Гопак. Кивая на витрину и смеясь, он говорит кому-то, кажется Жене: «Кукла! Что захочу, то и сделаю. Захочу — сгорит!..»

Полыхнуло перед глазами что-то ослепительно красное. Огонь? Смерть?.. Успокойся, Тамара! Это блеснул в руках Павлика тот самый нарядный огнетушитель. Значит, спасена! Сильный и добрый Павлик обязательно спасет ее. Только у него очень грустные глаза... Очень-очень!

XX

Жаловаться на Гопака Тамара не пошла. Просто она считала это бесполезным: ни один человек, кроме Жени,— а Женю уже не назовешь человеком! — в свое время не видел Тамариных эскизов.

Не подошла она и к Павлику, хотя с каждым днем ей становилось труднее и труднее переносить разрыв. Кержацкая гордость не позволяла подойти. По своему пра-

вилу продолжала жить Тамара: «Пересолю, да выхлебаю!»...

Как-то в столовой очередь за ней занял Игорь Переметов. Тамара сразу же хотела уйти, попуститься и обедом. Думала, что Переметов не удержится от насмешек... Ошиблась. С минутку помолчав,— это, конечно, для Игоря подвиг! — он совершенно серьезно и, чтобы не прислушивались другие, негромко спросил:

— Как живешь, Томка?

Тамара покраснела и только слабо улыбнулась в ответ. Переметов, сделав вид, что не заметил смущения женщины, продолжал участливо:

— Юрча как? Растет, ясное дело, пацан? Молодец он. Хочу посмотреть его... Можно, зайду как-нибудь?

— Заходи...

Еще больше удивилась Тамара, когда на одной из пересменок к ней подскочила Симка Тарабеева. Поправляя ладошками пушистый венец волос и ласково вперив в бывшую соперницу огромные, с блюдца, глаза, она сообщила:

— Тебя Поставничев приглашает. Зайди, пожалуйста!..

Зачем она понадобилась парторгу, Тамара никак не могла понять. Не сразу поняла, когда зашла уже в партийное бюро, когда уже и разговор начала с Поставничевым.

— Ну-ка садись, рассказывай, как живешь, хлеб жуешь? — схватив Тамару под руку и усаживая на диван, потребовал он.— Все рассказывай, давно мы с тобой не сидели!..

Тамара пожала плечами:

— Что рассказывать-то? Не знаю я...

— Сын как? Сама как? Мужик твой что поделывает?

Тамара, все еще растерянная, сказала две-три фразы

и замолчала. Не знала, что дальше говорить. Поставничев рассмеялся:

— Ладно уж!.. Я тебя, знаешь, по какому делу позвал? Посоветоваться хочу. Курасова думаем в партию принимать... Как считаешь?

Тамара вскинула на парторга удивленные глаза. Чего, чего, а этого они никак не ожидала. Беспартийная она и какое может иметь отношение к таким делам!..

— Чего смотришь? Ну чего? Давай свое мнение. Ты жена ему, знаешь лучше других, вот и докладывай!

Тамара продолжала молчать, сидела уткнувшись локтями в коленки и не поднимая головы. Будь этот разговор неделю назад, она бы ответила коротко, что-нибудь вроде: «Ваше дело — вы и решайте!» А сейчас она сидела и молчала. В коленках от нажима острых локтей (похудела за последнее время) стало уже больно.

— Так стоит принимать?

— Стоит.

— А я вот думаю, что не стоит...

— Почему? — Тамара теперь даже испугалась. Хватит Павлику и той беды, что она натворила...— Что вы? Обязательно надо!..

— Дома-то у него непорядок!

— Не он виноват...

— Кто же тогда?

Поставничев уже не шутил. Голос у него стал строгим. И даже когда он поднимался с дивана и, нервничая, прошелся по кабинету, где столы по-прежнему застланы выцветшими лозунгами, даже хромота его показалась Тамаре значительной, сразу напоминавшей о схватках старого кузнеца с металлом.

— Я виновата. Честное слово, я! Вот послушайте...

Обо всем рассказала Тамара. Обо всем, без утайки... Поставничев слушал внимательно, но чувствовалось, что

многое ему уже известно. Он сидел напротив на стуле и время от времени согласно кивал — тогда Тамара замечала розовую прогалинку в седом его ежике. Занервничал снова он только в том месте рассказа, где речь пошла о «пчелке»: Тамара не удержалась и, кроме семейных дел, посвятила парторга и в эту историю.

— Н-не-годяй! — загремел он стулом.— Авторитет пошатнулся, так вот на чем решил выехать! Ну-ну!..

Успокоившись, попросил:

— А теперь расскажи, что это за «пчелка» твоя... На вот листочек — рисуй!

Набросать «пчелку» на бумаге — дело пустячное, гораздо труднее было выдумать ее... Через несколько минут эскиз лежал перед Поставничевым.

— Так, так, понятно... Дальше? Оч-чень интересно!.. Послушай-ка, Курасова,— неожиданно оторвался он от листка.— А приспособление-то знакомо мне. Муж твой показывал, он уж и внедрил, кажется... Да-да точно! Вместе с Чекиным внедрял...

— Павлик?!

Что такое? Тамара и не понимала, и понимала что-то... и все-таки...

Неужели Павлик видел эскизы, спрятанные под линялой клеенкой? И неужели ее «пчелка» работает?.. Конечно, «пчелка» работает. Неделю назад Тамара сама видела, как старик Чекин, поблескивая круглыми очками, устанавливал приспособление на станок Сеньки Лобанова. Тогда еще, вспомнив Гопака, Тамара чуть не застонала от досады... А Чекин? Старик сказал ей: «Я, Антипина, зуб на тебя не держу, за статью твою... Правильная статья». Да, так сказал. Только к чему это? Пораженная тем, что ее, уже как разведенку, назвали девичьей фамилией (не догадалась глупая, что просто перепутал старый человек!..) Тамара так и не вдумалась в смысл че-

кинских слов... А значит, он ее «пчелку» устанавливал, значит, сказал ему Павлик!..

Поставничев остановился против задумавшейся, забывшей обо всем Тамаре:

— Сомневаешься, Курасова? Можно доказать!..

Он вышел из комнаты, и долго его не было. Вернулся вместе с Павлом. Увидев жену, Павел вздрогнул, задержался на мгновение в дверях, но тут же, просияв улыбкой, шагнул ей навстречу.

— Что же ты молчал? — спросила она тихо.

— Так ты же, Томка, не разговаривала со мной!..

— Эх ты! Павлик мой...

Редко, очень редко плачет Тамара. Она «кержачка», она всегда стеснялась слез... Но что поделаешь, если так горячо на сердце, горячо и хорошо?

Так бывает, когда полюбишь снова.

Много, много еще пройдет времени, пока забудет Тамара пережитую историю. А может, и никогда не забудет... Глупая была: людям не верила... Думала: улыбка ее нужна людям, не любят, мол, хмурых. А они любили... Любили и глаз с нее не спускали все время. Попала в беду — выручили.

Вот какие они — люди!..

Весенние месяцы

I

Толкнув ладонью железную дверь, Максим вышел в ветреный сумрак. Ожидая Сеньку, придержал дверь; из узкого проема в последний раз сегодня пыхнуло на него огненным жаром кузницы.

Выскочил Сенька, жалкий пижон, в коротком пальто и без шапки.

— Пошли?

— Пошли! — Максим пропустил его вперед и, сунув озябшие руки в карманы бушлата, зашагал следом по узкой, протоптанной в снегу тропинке.

Ветер был резок, сек лицо стеклянной пылью. Мгновениями ветер стихал, и тогда неожиданно по-весеннему теплело.

Вышли на главный заводской проезд — широкий, с асфальтовыми тротуарами, по которым спешили сейчас люди,— втиснулись в поток, и тот понес их к проходной.

Не дойдя до проходной, свернули у последнего корпуса, над первым этажом его синела вывеска столовой. Сенька задержался:

— Зайдем?

— А на что? — усмехнулся Максим.— Получу, пойдешь...

— А ты?

— Я не хочу.

Обогнули здание с торца,— там над дверью были другие вывески: «Почта» и «Сберегательная касса»,— и вошли туда.

В тесном — повернуться негде! — и мрачноватом позимнему помещении почты-сберкассы никого из посетителей не было. Максим, присев к столу, заполнил разграфленный красным листочек и протянул его в окошко.

— Люся! — сказал он.— Выдай мне мои сбережения.

В окошке просунулось круглое веснушчатое веселое лицо:

— Здравствуйте, Крыжков! Вам сбережения? Пожалуйста...

Крутнулась деревянная вертушка, и снова — девичьи глаза с беззаботным солнечным отливом.

— Что же это вы весь вклад выбираете, а? Оставьте... на развод!

— А у него еще и свадьбы не было! — хохотнул Сенька.

Максиму не хотелось смеяться. Он молча взял требование и тут же у окошка переписал, оставив «на развод» рубль.

Хлопнула входная дверь за спиной, Максим обернулся и увидел Станиславу.

Да, это была она — красивая, стройная, в шубке пепельного меха. И строгая, даже здесь, не на работе. Узнав Максима, кивнула без улыбки и прошла к почтовому окошку. Вынула из сумки пакет: «Заказным, пожалуйста!..»

Максима окликнула Люся:

— Вот вам на свадьбу, Крыжов! Проверьте!..

Максим смутился, украдкой взглянул на Станиславу: слышит. Торопливо передвинул всю пачку Сеньке:

— Иди, ешь свой компот.

И почувствовал: Станислава смотрит на него серьезно, заинтересованно.

А Сенька, ничего не заметив, схватил руку Максима и сказал растроганно:

— Спасибо! Через получку отдам... Годится?

— Да ладно-ладно!..

Станиславы уже не было.

* * *

Сразу за проходной открылась Крыжову круглая заводская площадь. Была она пустынна: смена уже прошла. Матово белели фонари на железных опорах; внизу о железо бестолково билась поземка, подметая искрящуюся, как лед, брусчатку.

За темной трибуной у стенда с сатирической газетой заметил Максим людей. Выпуск, наверное, был свежий, но Максим не подошел: было не до того.

Он пересек площадь, шагая не споро, раздумывая о своем, вышел затем на проспект, скрытый от ветра каменными громадами домов. До общежития отсюда квартала три...

Думал он о Станиславе... Глаза у нее большие, серые и почему-то недоверчивые. Почему?

До этого Максим видел ее лишь на работе, в теплом уюте парткомовской библиотеки, вечно занятую писанием каких-то бумаг, но, казалось ему, не очень озабоченную этими самыми бумагами... И всякий раз восхищался ее красотой — строгой, тонкой, ее манерой держаться и разговаривать, так не похожей на манеры здешних девчат и женщин...

А вот сегодня увидел ее не в библиотеке. Совсем случайно. В сберкассу он редко заходит. А тут зашел: из-за Сеньки. Друг нынче сел на мель основательно. Двадцать пять рублей из февральской зарплаты отослал сестре, «на зубок» осиротевшему до рождения племяннику, да еще — в Бугуруслан, матери... Как тут не выручишь!

А Станислава, говорят, была уже замужем... И снова собирается. За инженера заводоуправления Вольковича, седого красавца, неприятного Максиму.

Уйду с дороги,
Таков закон:
Третий должен уйти!..

Поймав себя на том, что насвистывает, Максим усмехнулся.

* * *

Нелепое здание общежития, построенное местными конструктивистами лет тридцать назад, желто горело огнями. Поминутно хлопали массивные, как в министерстве, двери, выпуская и впуская в дом молодых жильцов.

Максим кивнул с порога пожилой, закутанной в полушалок вахтерше Зине и стал подыматься по лестнице — широченной, с медными шишечками на перилах. Только сейчас он почувствовал, как устал за день.

— Здравствуй, Максим!

— Здравствуй!..

На площадке второго этажа ждала его Зойка Голдобина. Максим чуточку растерялся: он шел и думал о Станиславе, пришел, а дома — Зойка.

— Ты меня ждешь? — спросил он на всякий случай.

— Тебя.

— Тогда заходи!

— Н-нет!.. В кино хочется, Максим!

Зойка стояла перед ним — юная, совсем школьница. Стояла и, по-детски светло улыбаясь, смотрела ему в лицо снизу.

— Так зайдем ко мне! — Максим повернул Зойку за остренький локоток, и она, легко упираясь, все-таки пошла.

В комнате Зойка сразу же пробежала к окну и прижалась к батарее, грея ладошки. А Максим, тоже не раздеваясь, присел к столу, смяв рукавом пластмассовую скатерку.

— Недавно пришла?

— Только что. Очень замерзла!

— Ну вот, а еще в кино собираешься!..

— А я вышла из техникума, мне тепло показалось. Забежала домой и — к тебе... «Путь к причалу» идет!

— Эта, что ли? — И Максим засвистел тихонечко:

Уйду с дороги,
Таков закон:
Третий должен уйти!..

— Конечно! А ты уже видел?

— Нет, по радио передавали...

Максиму снова вспомнилась Станислава. Зойка не походит на нее. Курносая, маленькая... но с нею проще.

— Ты знаешь, Зоя, я устал маленечко, да и есть хочется. Ты посиди погрейся, а я в магазин схожу. Чайник вон, кстати, поставь... А насчет кино подумаем. Годится?

Зойка оттолкнулась ладошками от горячей батареи, послушно взяла с электроплитки пустой зеленый чайник и выскочила в коридор. Максим вынул из тумбочки авоську, пошарил в карманах мелочь и, запахнув бушлат, вышел на улицу.

II

Когда он вернулся и открыл дверь своей комнаты, то подумал было, что попал не туда. Конечно, он не мог узнать своего жилища: было здесь что-то такое, что сразу меняло все.

Первое, что бросилось в глаза и что смутило, были Зойкины туфли. Маленькие, тупоносые, с побитыми каблучками, они были небрежно брошены посреди комнаты... А Зойка?

Зойка сидела на его кровати. Забралась с ногами, забилась в угол... Была она в алой кофточке, белоснежная наволочка на подушке резко оттеняла алое, а свет настольной лампы на тумбочке у изголовья постели нарядно освещал всю ее, незнакомо-милую.

Он, ошарашенный, встал в дверях.

— Как ты долго, Максим! — сказала Зойка. — А я уже совсем согрелась...

И она спрыгнула с кровати. Подобрав туфли, в момент надела их и подбежала к Максиму. Поправляя светлые, легкие, под мальчишку стриженные волосы, доверчиво заглядывая в его озадаченное лицо, попросила:

— Потрогай лоб, пожалуйста... Не горячий?

Сама взяла тяжелую Максимову ладонь, притянула к лицу.

— Горячнй...— И повторил: — Ну, вот, а еще в кино собралась!

Получнлось у него это нежно, по-отеческн вроде.

— Давай чай пить!

Странно все-такн относился он к Зойке. Впервые увндел ее около года назад, вскоре после того, как вернулся из армин. До призыва он успел закончнть техникум; в кузнечно-прессовом цехе подходящего места не иашлось, и потому впнхнули его для иачала в брнгаду Голдобина, ее отца. В доме бригадира, на богатых нмениях, он н познакомился с Зойкой.

После этого встречались они несколько раз, больше случайно. В первый вечер, на именннах, показалась она Макснму тихой скромиицей. Неслышно помогала матери в застольных хлопотах. Песнн не пела, танцевала не с ребятамн, а с подружкой Машей, за которой, впрочем, без устали ухажнвал пнжон Сенька, но та, в свою очередь, поглядывала на Макснма н танцевала потом только с ним.

Позднее, когда онн познакомнлнсь поблнже, а было это после концерта в новом Дворце культуры, Зойка уже не казалась ему тихоней. Она первая сообщила Макснму, что он ей нравнтся и нравится гораздо больше, чем техникумский Игорь, с которым оиа «дружнла».

Раза два забегала она к Макснму в общежнтне, просиживала у него часами, вызывая улыбкн-иамекн у всезнающей вахтерши Зниы. Но былн этн совместиые часысидеиия безобидны, потому что смотрел Макснм на Зойку как иа «пацанку», да и к тому же появилась на горизоите Станнслава...

— Ой, пирожки! Да еще тепленькне!.. Ешь, Максим!

Это Зойка развериула сверток, прннесенный нз магазина. Первая взяла пирожок, надкусила...

— С капу-устой!.. А мы сегодня уже ели такне...

— Кто мы?

— Да мы с девчатами в техникуме. У нас весь курс любит пирожки... Да-да!.. Каждый день покупаем. А хожу за пирожками я. Мне уже лоточница знакома. Знает что я приду и приготовит свеженьких. Девчата меня всегда посылают! Павел Петрович пришел сегодня на урок, принюхался и говорит: «Сегодня с капустой у вас пирожки. Верно, Голдобина?» — «Верно!» — отвечаю...

Зойка дернулась, выплеснула чай на скатерть, обожглась и, прижимая пальцы обеих рук к губам, звонко-звонко расхохоталась. Максим, думая о своем, взглянул на нее и тоже улыбнулся.

А она сидела уже как ни в чем не бывало. Шмыгая носом, прихлебывала из граненого стакана; от горячего чая, от температуры раскраснелась вся... И была сейчас совсем домашней, ребенком.

— Орехи есть. Грызи, Зоя,— предложил Максим, когда она отставила пустой стакан, и придвинул надорванный кулек.— Любишь кедровые-то?

— Люблю. У меня и мама любит. Ты не знаешь, они поэтому и с папой познакомились!.. Отец в двадцать седьмом году пришел на стройку наниматься на работу, пришел из тайги и принес большо-ой мешок орехов. Позвал девчат как-то вечером и стал угощать. И мама тут была. Сама она в степях родилась-выросла, казачка уральская, из-под Оренбурга... Кедра никогда не видела! Попробовала разочек — очень ей орехи понравились. А отец заметил и, как только увидит ее, приглашает. Догрызли мешок и влюбились окончательно, поженились!

Максим слушал и не слушал Зойкину болтовню. До чего удивительно не похожа она на отца! Голдобин — длинный, как жердь, сухой. Зойка же — «недомерок». Нос у отца тоже длинный, вислый. А у Зойки по-ребячьи вздернутый. Выручают лишь глаза, широко расставленные, с нежной голубинкой.

Вспомнил Максим о Голдобине и уже не мог отвязаться от мыслей о нем. В последнее время что-то не клеилось у него со стариком. Или старик строже стал, или Максиму надоело ходить «в мальчиках»: все-таки техникум закончил! Но факт: первоначальная ласковость в отношении старика к Максиму вдруг стала таять, как сахар.

— Зоя, Александр Андреевич ничего там обо мне не говорил?

Зойка сразу посерьезнела:

— Н-ничего! А что он должен был говорить?

— Не знаю. Может быть...

— Да нет, ничего. Это я говорила ему...

— Что?

— Хвалила!

— ?!

— За поведение. Что скромный ты! — Уголки чутких Зойкиных губ дрогнули в усмешке.— Ну, сказала, встречаюсь с тобой.

— А он?

— Он ничего на это не сказал.

Максим поднялся и прошелся по комнате. Подумалось зло: «Без меня меня женили!» Зойка тоже встала:

— А что ты заволновался? У тебя случилось что-нибудь с папой?

— Нет, все в порядке.

— Так почему же волнуешься? А-а, понимаю!.. Ну, так обещаю тебе, что больше ни словечка!

Вскоре она засобиралась. Максим пробовал удерживать, но, очевидно, не так напористо, и она ушла. На прощание подала руку, маленькую, горячую, подала и быстро сердито отдернула.

После ее ухода осталось у Максима двойственное чувство: злость на то, что она безосновательно сочла его

«своим» и болтает об этом дома, и смиряющее эту злость неосознанно принятое воспоминание о том, что пережил, войдя тогда в комнату и увидев Зойку...

Он долго еще, пока не пришел Сенька, бродил по комнате, тихо насвистывая. Иногда останавливался перед окном и с бездумной сердитостью разглядывал себя в блестящей черни стекла.

* * *

Пришел Сенька. Деревянно застучал у порога стылыми ботинками, на голове у него была чья-то мохнатая шапка.

— С кого снял? — безразлично поинтересовался Максим.

Сенька не ответил. Сбросив пальто, он сразу же прошел к своей койке и начал разбирать постель.

— Хлебнул, что ли?

— Н-не!..

Разобрав постель, скинул ботинки, разделся. Потом сидел на кровати, уткнув подбородок в колени и ожесточенно разминая красные пальцы на ногах.

— Деньги отослал?

— Отослал.

— А чего такой... грустный?

Сенька опять не ответил. Тогда и Максим взялся за одеяло, на котором еще недавно грелась Зойка...

— С Машей поругался?

Сенька и тут не сразу ответил. Неожиданно выпалил с болью:

— Дрянь она, твоя Машка!

— Ну-ну!..— протянул Максим и ничего больше не спросил. К другу в такие моменты лучше не приставать. Придет время — сам расскажет.

III

Голдобин устал. Целый день старался он у тяжелого гулкого молота, резко напрягая немолодые уже мускулы, чтобы в момент перевернуть клещами раскаленную поковку...

Голдобин делал дело и устал.

Он сутулится сейчас на табуретке в углу чистенькой кухни, положив на колени зачугуневшие, с промытыми ссадинами ладони, привалясь плечом к краю стола, где расставлена сытная снедь, и отдыхает. Цепкие думы, весь день донимавшие его в цехе, постепенно уходят, уступая место другим заботам.

— А где же Зойка? — спрашивает он вслух.

Никто не ответил: жена на заводе.

От окна через приоткрытую форточку доносятся озорные ребячьи вскрики. Заревела соседская Танюшка: полетела, наверное, с горки... Голдобину же вдруг показалось, что плачет Зойка. Что за наваждение!.. Зойка взрослая, ей не десять, как Танюше, а двадцать скоро.

Зойка — сейчас главная забота.

Она младшая. Василий и Лиза уже на ногах... Работают. У Василия — он остался после армии в Белоруссии — семья. Лиза тоже замужем. Муж ее — учитель, славный парень. Живут в Перми своим домом: хорошо!..

А вот Зойка? Что с нею будет? С младшими всегда хлопот больше... Разница сказывается, что ли: родители старые, а они совсем молоденькие? Трудно бывает договориться... Да и вообще трудно с нынешней молодежью. Умные все, «эрудиты»,— сказал один писатель, который выступал в цехе. Старый писатель, седой и в очках, ему верить можно...

Что с Зойкой будет? Окончила школу. Желал Голдобин, чтобы пошла она в университет: в семье, кроме учи-

теля, ни одного нет с высшим образованием... Не попала в университет Зойка. Сидела дома, «тунеядствовала». Потом месяц-другой работала в механическом табельщицей... Прошлое лето решилась в техникум. Учится. А вот, чтобы рада была, не видно.

Маленькие детки — маленькие бедки... С Танюшкой соседу легко, а ему с Зойкой? Был случай, когда пришла дочка домой и... не в себе. Дверь ей открыла мать. Сообразив в чем дело, испуганно ойкнула. Потом спохватилась, провела ее на кухню, плотно, чтобы не услышал Голдобин, прикрыла двери туда и в спальню. Он насторожился. Донесся неестественный Зойкин смешок — не поймешь, смеется или плачет. Голдобин встревожился. Поворочавшись с закрытыми глазами, поднялся и, натянув пижаму, прошлепал на кухню.

Зойка сидела на том же самом месте за столом, где сейчас сидел он. Зеленое пальтецо ее было брошено на соседний стул, а снятый с ноги меховой ботинок валялся у порога. На бледном Зойкином лице проступили розовые пятна, глаза влажно блестели. Зойка смеялась, в глазах же был испуг. Увидев отца, она перестала смеяться и, казалось, оцепенела.

— Что это? — хрипло выдавил он.— Ты... ты где была?

Зойка молчала. За нее ответила Александра — она стояла, заложив руки за широкую спину и крепко ухватив пальцами край газовой плиты,— тоже бледная и тоже в красных от негодования пятнах на заспанном лице:

— Пировала наша доченька! С мальчиками гуляла...— и с ненавистью посмотрела на Зойку. Потом шагнула от плиты и, не владея собой, забрала на темени Зойкины волосы, больно дернула.

Девчонка отшатнулась на стуле, глаза ее потемнели, испуганное выражение сменилось отчаянно-горестным,

страдальческим. Сердце старика дрогнуло, он отвернулся. А когда снова взглянул на дочь, то увидел, что она плачет... Зойка спрятала лицо в ладонях, тыльной стороной прижатых к краю стола, и всхлипывала, сначала тихонечко и редко, а потом громче и жалостнее.

— Утре разберемся... На свежую голову! — буркнул Голдобин и, вконец расстроенный, ошеломленный, прошлепал обратно в спальню. Ворочаясь под стеганым одеялом, он слышал, как Александра, сменив, очевидно, гнев на милость, грубовато-ласково успокаивала дочь:

— Ладно, обойдется... Попей-ка чаю крепенького, полегчает!

Тот вечер был давно, прошло уже около года, но всякий раз с тех пор, думая о судьбе Зойки, Голдобин вспоминал его.

Наутро состоялся такой разговор:

— Ты что это, дочка, а? — спокойно было начал Голдобин, выждав, пока Александра уйдет в магазин.— Добро бы мужиком была, так еще простительно водочку-то халкать. А то ведь женщина, девица!..

Вскинул лохматые брови, ожидая, какое впечатление произведут на девчонку его слова. Впечатление они, кажется, произвели... Только отец заговорил, как Зойка, занятая утренней уборкой,— перебирала книги на этажерке — притихла. Прижимая к груди зеленый томик Есенина, обернулась, посмотрела на Голдобина испуганно-горестными глазами, точь-в-точь как накануне. В старом, со школы, форменном платьишке, в черном, тоже еще ученическом фартуке, она казалась совсем маленькой. Он шагнул ближе, тяжело опустил руку на никелированную спинку кровати.

— Ты мне расскажи все до тонкостей, от отца скрывать нечего! С кем была? Что у тебя за дружки-приятели

завелись, ежели могут они позволить себе такое? А? Чего молчишь?

— Папа, я...

— Говори, говори... Только правду! Перед отцом кривить душой нечего! Слышишь, не-че-го!

— Я и не думаю кривить душой, папа. Ты только не кричи!

— А ты не указывай! С тобой отец говорит, который и кормит и поит тебя! Поняла?

Взяв поначалу спокойно-вразумительный тон, Голдобин при первой же дочкиной оговорке как с цепи сорвался.

— Меня учить не надо! Я век прожил. И прожил честно! Работал. Все знают, как я робил и роблю. Ордена имею. Не сам отковал, правительство дало! Понятно? А ты кто, вы кто, твои дружки-приятели? Бездельники, туне... Тун-ияй-цы вы!

— Я не тунеядка, папа. Кто виноват, что так получилось? Кто виноват, если...

— Я виноват? Училась бы как следует, троек-двоек в четвертях не хватала, так и прошла бы в институт!..

Зойка больше не пыталась возражать. Стояла с той же книжкой, прижатой к груди, и молча ждала, пока отец не выговорится. Голдобин понял это и замолчал.

С того вечера прошел год. Был убежден Голдобин, что «взбучка» помогла, что не повторится случай, но тревога осталась...

Сегодня опять заволновался. И не поздно еще, старые ходики с подвешенной на цепочке шестеренкой вместо гири показывают всего лишь полвосьмого, но Голдобин волнуется: Зойки нет.

Сегодня утром шел он мимо заводоуправления и еще издали увидел, что у «окна сатиры» толпится народ. Замедлил шаг. Под стеклом висели свежие листы ватмана,

разрисованные цветисто и зло. На одном была изображена полуобнаженная девица, изогнутая в поцелуе... На нее обращали внимание больше всего, смеялись. Голдобин двинулся было дальше — заводские сатирики рисовали и не такие картинки, но тут из толпы вывернулась и почти побежала, обогнав его, немолодая уже женщина в синей телогрейке. Телогрейка ее распахнулась, видна была пестрая штопаная кофта, шаль сбилась, серые длинные волосы прилипли к потным вискам. Голдобин узнал ее:

— Елена!..

Женщина оглянулась на бегу, но не остановилась. Настиг он ее уже за проходной.

— Елена, что случилось?

Она не ответила, но пошла медленнее, чуть-чуть впереди. Плечи под телогрейкой вздрагивали.

— Что случилось, спрашиваю?

— Машку мою... разрисовали. Видел? — глухо проговорила Елена. Голдобин вспомнил девицу на картинке и догадался: Маша Калганова, дочка Елены. У него вырвалось:

— Да ну-у!.. Как же так? Надо проверить. Ты успокойся, Елена. Мало ли что! Надо выяснить сначала.

— Что уж выяснять-то!..

Голдобин и сам понимал, что выяснять тут нечего. Он не раз слышал от Александры, да и от других, что дочка Калгановой совсем сбилась с пути... Он знал ее. В школе она училась вместе с Зойкой, и поэтому Голдобин частенько видел ее у себя дома. Была она, эта Маша, маленькой, чернявой, смазливой девчонкой, были у нее, хохотушки, ровные белые, как молоко, зубы, и вся она, казалось, пропахла молоком — настолько была юной, чистой, свежей. И вот эта Маша «загуляла». Появился у нее, рассказывала Александра, сначала один парень, потом другой, третий... Одного Голдобин знает: Семен Чури-

лев из его бригады. Помнит, как увивался он за девчонкой в прошлый раз на именинах, видел на улице раза два вместе. А от Чурилева хорошего не жди, похоже, со стилягами знакомство водит... Главное же, бросила девчонка школу, работу меняла-меняла, а потом тоже бросила... И научить дома некому: мать одна, трудится. Где ей с тремя справиться!

— Ты скажи Марии, чтоб до Зойки моей добегла, к нам на квартиру то есть,— предложил Голдобин Елене,— поговорю с ней.

— Спасибо...

Они дошли уже до корпуса механического, где Калганова работала уборщицей.

— Позор-от какой!..— в страшной тоске тихо сказала она, подавая Голдобину руку и не глядя ему в глаза.— Позо-ор...

И целый день Голдобин был под впечатлением этой встречи.

Не может он забыть о ней. Кажется ему, что и его Зойка катится по той же дорожке. Где вот она пропадает вечерами? Кто знает? Мать? И мать не знает! Известно, что Зойка встречается с Максимом Крыжовым... А что значит: встречается? И кто такой Максим Крыжов? Друг-приятель Чурилева! Вместе живут, вместе работают... Крыжов-то работает ничего, справедливости ради надо отметить. А какой вот он человек — не понять. И что он девке голову крутит? А она бегает, дурочка...

— Ну приди же только! — громко вслух говорит Голдобин и стучит кулаком по столу.— Приди только!

Он поднимается, резко ногой отодвинув табуретку, и прохаживается по тесной кухне: два шага туда — два обратно. Прогибаются половицы под ногами, тонко дребезжит посуда на полках и на столе. И продолжает говорить сам с собой:

— Распустились! Нет, думаете, на вас управы? Сколько о вас фельетонов пишут, и еще напишут! Да я... Я в парторганизацию, в комсомол пойду, из бригады повыгоняю, если надо! Передовая бригада коммунистического труда! Мне такие-то не очень!..

Голдобин все больше и больше распаляется, и дневной усталости его как не бывало. Он продолжает ходить по тесной кухоньке и разговаривать... Сам с собой. Он даже не слышит, как хлопает входная дверь.

— Ты чего это, старый?

В кухню заглядывает Александра. Круглое лицо ее раскраснелось — торопилась! — прищуренные глаза смеются. Из-за плеча ее выглядывает Зойка, нагруженная покупками, и тоже смеется.

— Ты чего это тут бесишься? — спрашивает Александра.

Голдобин смотрит на нее, на Зойку, и прокаленная кожа на его впалых щеках темнеет от смущения еще сильнее.

— Да так, я...— как можно спокойнее говорит он.— Выступление свое готовлю... На завкоме.

IV

Максим просыпался ровно в 6.30. Просыпался по неслышному сигналу и сразу же вскакивал, не давая себе времени подумать, вспомнить, что было вчера,— хорошее или плохое, с тем чтобы вчерашнее плохое настроение не перешло на сегодня. Таким образом, каждое утро жизнь у него начиналась как бы заново.

В это утро Максим тоже вскочил в 6.30. А через час они с Семеном, кислым после вчерашнего, были уже на заводе.

В цехе, в бытовке, переоделнсь. Максим натянул на себя корнчневую, прожженную на колене спецовку н, не дожндаясь Семена, протопал по глухому полу к своей «двухтонке» — большому ковочному молоту.

Брнгада была уже в сборе, не хватало только «старшого» — Голдобнна.

— Где он? — спроснл Макснм.

Небрнтый, невыспавшнйся Ветлугнн буркнул:

— Задержнвается!

— Начальство, понятно!.. Металл далн?

— Нет.

— Пон-нятно!..

Макснм вразвалочку, грустно насвнстывая, обошел «безработную» двухтонку. Вдоль пролета поблесквалн масляным штокамн еще несколько молотов; трн нз ннх работалн, а два нет, как н голдобннский. В гулком н тоже, казалось, маслянистом воздухе, перерезая тросом косые солнечные струн, ползал кран, тот самый, что должен был доставнть брнгаде заготовкн.

— Семен! — позвал Макснм.

Чурнлев, не дойдя до своих, остановнлся н, задрав кверху белобрысую голову в мятой кепке, жестамн разговарнвал с крановщнцей Алей Панькнной. Рукн Алн былн заняты рычагамн, н она вроде бы не отвечала, но по сняющнм глазам было ясно, что девчонка рада Сенькнному вннманню.

«Утешается друг!» — подумал Макснм н подождал, пока, звякнув, кран не поплыл дальше по пролету н освободнвшнйся Семен не подошел сам.

— Что, Макснм? Да ты, я смотрю, скучный какой-то сегодня!

Ему, похоже, уже не было скучно. Он улыбался н прнщелкнвал пальцамн.

Макснм съязвнл:

— Утешился?

Сенька только засмеялся, выказывая щербатый зуб. И Максим почему-то подумал: на душе у парня черная ночь.

Ему было тоже невесело. Случается же так: настроится человек с утра на работу, проснется чуть свет, вскочит, обожжет ладони прохладными гантелями — нальются мускулы силой, потом втиснет голову под ледяной кран — работает голова! Одним словом, почувствует себя человеком. И кажется ему: горы свернет сегодня!

И вот, пожалуйста!..

Убивая время, Максим с Сенькой заглянули в красный уголок. Пустынен он днем. Маленькая крашеная трибуна задвинута в угол, а большие часы с трещиной на стекле трудятся, отщелкивая тоскливые минуты.

Сенька, рассеянно оглянув плакаты на стенах, остановился перед одним. На широком глянцевом листе водочная бутыль перекрещена черным. Сбоку крупными буквами напечатано: «Алкоголь — это медленная смерть».

Сенька молча вынул карандаш и приписал внизу: «А мы и не торопимся!»

Максим засмеялся.

V

Голдобина и начальника цеха Климова с утра вызвали в партком.

Климов, грузный, старый, отросшая седина из-под кепки торчит, как перья, дорогой ворчал: «В цеху запарка, металла нет, а тут еще бегай!..»

Голдобин вышагивал рядом молча. Раз вызывают, значит, надо: старик знал дисциплину.

Климов, как пришли в партком, с порога — секретарю:

— Борис Иваныч! Стоим сегодня. Металла нет. Что там в литейном? Я к директору...

— О том и разговор предстоит. Садитесь. А Рогачев где? Да? Не вовремя!.. Ну ладно!

Борис Иванович Рублев начинал вместе с Голдобиным, позднее был начальником сборочного, а теперь — секретарь.

Времени он не поддается. Голдобин с каждым годом все костлявее, а Рублев — в ногах крепче, в плечах шире, такого не свалишь! С Климовым они больше схожи: и видом, и обстоятельностью в характерах.

Сели в кресла, Рублев — напротив, положив кулаки на стол перед собой. Глядит в упор: на одного, другого, а глаза усталые, несветлые.

— Вот что, друзья!..— начал неспешно.— Звал вот зачем. Партком был вчера. Обсуждали пересмотр норм. В сторону повышения, понятно. Но добровольно. Кое-где на заводах провели уже... Повторяю: добровольно! Посмотрите, какие резервы есть. Главное, чтобы народ осознал, сам навстречу пошел!..

Рублев говорил, а Голдобин, слушая, поначалу никак не мог уразуметь: он-то при чем! Догадался: посоветоваться пригласили, как старого кадрового... От этого на душе тепло разлилось, приятно стало. Не так уж часто Борька Рублев, как-то незаметно закончивший институт и далеко шагнувший, балует Голдобина своим секретарским вниманием...

— А к тебе, Александр Андреич...— повернулся Рублев к Голдобину,— такая просьба. Надо поговорить с бригадой и выступить первым, инициатором как бы! Ты у нас человек известный, кадровый рабочий и...

Нет, действительно, не ошибся Голдобин. Ценят его и на большое дело сватают. Мгновенно вспомнилось, как ровно двадцать лет назад, в сорок втором, его однажды

вот так же вызвали, правда, не в парткном, а к директору, и предложили выступнть иинцнатором соревиоваиия за экоиомию. Не подкачал тогда Голдобии!

— Не с иас бы иачиниать, Борис Иваиович,— хмуро возразил Климов.— С мехаиического иадо! У иих выработка каждого иа виду, да из станочка и побольше выжмешь: там резец перезаточил, осиасточку прндумал, а у нас что!

Рублев пристукиул кулаком легоиько:

— Не прибедияйся! Захотите, все сделаете — знаю!

— Да и живем мы сейчас иеважно... Металла ие хватает! В чем там дело, ие пойму!

— Вчера Гиездилова слушали иа парткоме. У иего в литейном ие слаще твоего... Комбииат подвел — раз! А главиое...— Рублев перегиулся через стол, заговорил доверительио: — Главиое — с иормами иапортачили. Директор дал приказ иа повышеиие. Базу ие подготовилн — заработки полетели! Отсюда иедовольство, дисциплииа упала. Приказ пришлось отмеиить... Потому и говорю сейчас с вами! С другого конца иачиниать иужио, чтобы иарод поиял... Ну так как ты решил, Алексаидр Андреич?

— Я согласеи! — выдохиул Голдобии.

— А ты помогн ему, Климов! — Рублев мотиул головой в староиу Голдобииа.— С техиологами поговори, собраиие проведите... Я сейчас вас еще теоретически подкую!

Рублев иабрал телефоииый иомер и сказал в трубку: «Стаииславa Васильевиа? Мие бы еще экземплярчик той брошюры... Хорошо!»

Пока ждали, молчали. Через миииту-две в кабииет вошла женщниа, затянутая в голубое и в туфлях на «шпильках». Оиа положила брошюру иа стол перед Рублевым н вышла. Тот, протяиув брошюру Голдобииу, строго иаказал:

— Прочти обязательно!

Старик сунул ее в карман, подумав: «Потом погляжу!»

VI

В цех он пришел возбужденный. Крепко встряхнув каждому руку, сказал:

— Скоро металл дадут. Будем робить. А сейчас разговор есть... Потолкуем чуток.— Минуту помолчал.— Есть предложение, ребята.— Заговорил Голдобин с улыбкой, немножечко виноватой.— Пересмотреть нормы.

— Соскучились!

Крутнув худой шеей, Голдобин кольнул взглядом Красавчика.

— Дело вот в чем. Нынче мы сами должны пересмотреть нормы, не техотдел, а мы. Использовать, так сказать, свои резервы... Понятно?

Первым согласно покивал Ветлугин, работавший с Голдобиным давно и привыкший верить каждому его слову. Снова отозвался Красавчик, самый молоденький в бригаде. Он выкрикнул:

— Поддержим, Александр Андреевич!

У Максима вроде тоже не было причин возражать бригадиру, и он готов был подать голос, но, взглянув на Сеньку, осекся. Сенька определенно скис. Стоит, повесив голову, задумался о своем...

Максим догадался, о чем, понял его. Принять предложение Голдобина — означало пойти на сокращение заработка, пусть даже на первое время, а Сенька и без того в цейтноте. Отлично понял его Максим. И еще подумал: разве так это делается?..

И промолчал.

— А ты, Крыжов? — спросил Голдобин, и в голосе его

Максим почуял сначала обидное удивление, а потом и угрозу.— Поддерживаешь?

«Метод убеждения в действии...» — подумал Максим. И сказал:

— Не пойдет, Александр Андреевич...— и, помедлив: — Я понимаю, бригада передовая. Нам, значит, и карты в руки — инициаторами быть... Только зачем так, с кондачка?..

Голдобин резко выпрямился, сразу перестав казаться сутулым. Неширокий лоб его рытвиной перечеркнула морщина. Ему редко возражали в бригаде, и слова Крыжова сейчас, после разговора с Рублевым (о рублевском предупреждении он забыл), сию же минуту вывели из себя:

— Ты знаешь, Крыжов, я в парткоме был. Ты это должен понимать, сам в партию вступаешь...— начал он спокойно и тихо. Начал... и сорвался: — Да, ясно, не понимаешь! Ты сопляк!

Теперь взорвало Максима. По лицу его это не было заметно, оно лишь чуточку побледнело. А вот с руками он ничего поделать не мог: руки сжимались в кулаки.

У него хватило сил сдержаться. Сунув кулаки в карманы спецовки, он, не обращая внимания на испуганного Красавчика, на побледневшего Сеньку, зашагал к бытовке.

— И уходи!.. Совсем! — услышал он брошенное вслед Голдобиным.

VII

В то утро Максим все-таки вернулся к молоту и еще несколько дней работал в бригаде, но потом ушел. Ушел, потому что становилось все труднее и труднее. Старик даже не смотрел в его сторону. Возможно, было ему и не до Крыжова. Предложение насчет добровольного повы-

шения норм шумно подхватили сначала в кузнице, а потом и в других цехах. Старика подняли до небес, как случалось это и раньше, неделю-две приглашали на разные собрания и заседания, где он непременно выступал. В газетных заметках упоминали членов бригады, но фамилия Максима всегда почему-то выпадала. Он оказался как-то не у дел...

И решил уйти, хотя невольный виновник всего Сеня Чурилев уговаривал его не делать этого: «Что имеем, мол, не храним, потерявши — плачем!..» Сначала, правда, надеялся: все образуется, старик поймет, что он, Крыжов, был все-таки прав...

И сейчас Максим втайне надеялся, что поступит Голдобин по справедливости, гнев сменит на милость, позовет, поговорит.

Нет, упрямый оказался старик. Шли дни, а он вел себя, как будто и не было Крыжова...

Конечно, Максим мучился. Правда, и ел, и пил, и в шахматы играл, и даже спал как обычно, но чувствовал себя, не как обычно. Раза два пробовал напиться — не получалось. К горлу подкатывал тошнотворный комок, и губы не разжимались. Чурилев, все время вертевшийся возле друга, уговаривал:

— Да выпей ты! Что ты, как девочка!

Максим мотал головой, мычал, отвернувшись, выдыхал воздух и, наконец, говорил:

— Не могу-у!..

Забыл, похоже, флотские привычки.

— Давай лучше сыграем!

Со стола убиралось все лишнее: графин, Семеновы учебники, электрический вентилятор, купленный тем же Семеном, вынималась из тумбочки гремучая коробка с шахматами, расставлялись фигуры, и в тесной комнате поселялось великое молчание.

Семен сидел верхом на стуле, по-медвежьи облапив гнутую спинку, и долго раздумывал над каждым ходом. Максим ждал и постепенно терял интерес к игре: возвращался мыслями к Голдобину и случившемуся.

Странно, невзлюбил он вдруг белого шахматного короля. Хотя тот и именовался «белым», но был выкрашен в рыжий цвет, и эта рыжесть напоминала бригадира. А рыжий был неуязвимым, его нельзя было поразить, как пешку, туру, как даже ферзя. Рыжий до конца монументально возвышался на поле боя...

Голдобин был тоже неуязвим. Его мастерство, слава ветерана, тридцать лет назад строившего на болоте завод, а затем все эти тридцать работавшего в кузне, дали ему право быть неуязвимым. Ордена, Почетные грамоты и почетные звания-должности надежно подпирали голдобинский монумент.

И теперь, когда Максиму доставались «черные», ему безотчетно хотелось поразить именно рыжего короля.

* * *

В один из этих дней в общежитие позвонила Зойка. И это было неприятно: «Голдобина!».

— Максим, ты дома?

— Дома.

— Поедем завтра в кино? В город.

— Нет! — отрезал он неожиданно грубо. Неожиданно для самого себя.

Зойка подождала секундочку и молча положила трубку.

Сенька спросил, когда Максим поднялся снизу:

— Зоя звонила?

— Она.

Сенька вздохнул:

— Везет тебе, кореш!..

Он все еще горевал о Маше... Но таился. Однажды только обронил: «Студента завела... С ним и влипла!»

А сейчас повторил:

— Везет тебе!..

Максим ничего не ответил.

VIII

Зоя очень хотела встретиться с Максимом, но после телефонного разговора и думать об этом было нечего. В кино она все же пошла. Из упрямства. И, конечно, не одна, а с Кирой Зебзиевой, однокурсницей.

Потом после кино зашли к Арсентьевым. Зойка любила бывать у них. Ларик Арсентьев, студент университета, жил вдвоем с матерью, полной седой женщиной, работавшей в горсовете. Нина Степановна всегда радушно встречала сверстников сына, никогда не мешала им своей взрослостью, а если и вступала в разговор, то обыкновенно очень кстати. И дома у них было хорошо. Арсентьевская квартирка на третьем этаже нового шлакоблочного дома блистала чистотой, мебель была современная — легкая и красивая, такая, какая только и нравилась Зойке, полгода слушавшей в университете культуры лекции по эстетике.

А кроме того, Зойке по-девчоночьи интересно было наблюдать за Лариком и Кирой, которые вот-вот должны были пожениться... В их отношениях не было той беззастенчивости, которая отличала влюбленных ребят и девушек, знакомых Зойки: они не целовались при всех, и все лишь догадывались о их любви. Ларик, рослый парень с мужественным ртом и мягким светлым чубом, держал-

ся с Кирой даже несколько сурово, на людях называя не иначе как Зебзиева, и даже в шутку не приласкал ее ни разу.

Кира в чем-то под стать своему будущему супругу. И она не неженка. До техникума жила в прикамской деревне, в семье, где, кроме нее, росла еще целая орава. Добела выжжены луговым солнцем ее собранные в косы волосы... Кира уже написала домой о предстоящем замужестве и спокойно, уверенная, что отказа не будет, ждала ответа.

У Арсентьевых в этот вечер не было чужих. «Чужой» пришел позднее, но и тот оказался студентом. Звали его Дмитрием, Димой, и учился он в консерватории. Это был молодой серьезный парень. Массивные очки придавали ему солидность, броскую особенность. Трогая указательным пальцем дужку очков на переносице, он ровным баском тянул:

— Я вот по профессии — музыкант... Ну, скажем, будущий музыкант, не суть важно! Однако и я считаю, что в наше время массам более понятен и доступен джаз, чем, скажем...

Разговор был не очень-то нов, но Зойка слушала внимательно и поддакивала, поддакивала чуть ли не каждому слову молодого музыканта, на которого Нина Степановна поглядывала почему-то с усмешкой.

Дмитрий заинтересовал Зойку, да и она его, очевидно, тоже. Когда она засобиралась домой, он под каким-то предлогом тоже засобирался. Небрежно нахлобучив шляпу, поднял воротник старенького пальто, сдержанно попрощался с хозяевами и, несмотря на уговоры остаться, вышел следом за Зоей.

— Девушка! — догнав ее, бодро сказал он и без разрешения взял под руку.— Давайте знакомиться ближе.

— Давайте! — Зойка слегка высвободила руку и по-

старалась подладиться к неторопливому шагу спутника.— Расскажите что-нибудь. О себе, например...

— А что можно рассказать о себе? Вряд ли это интересно... Гораздо интереснее поговорить о том, что ждет нас, что будет с нами!..

Дима сказал «с нами», но говорил потом уже только о себе. Зойка узнала, что он сын архитектора, уехавшего не так давно строить новый сибирский город, и тут же услышала сыновнее мнение об отце. Оказывается, того «даже трудно назвать архитектором, он просто исполнитель...», работает над типовыми проектами обычных жилых домов, похожих друг на друга, как две капли, а вот чтобы подумать над чем-нибудь таким, от чего дух захватывает и что проложило бы новые пути в архитектуре, так нет, на это отца не хватает!

Зойка сквозь мокрые от снега ресницы с удивлением, но незаметно поглядывала на критически настроенного спутника. Она продолжала внимательно слушать, и только весенний настой в воздухе, синяя хмарь, волнующая душу, нет-нет да и отвлекали ее от серьезного разговора.

Как раз вышли в квартал новых домов, неподалеку от центра, от городского пруда, где она, как думала накануне, встретится сегодня с Максимом. Не получилось. И это очень обидно. Но почему он так относится к ней! Они знакомы так долго, уже полгода, а она не понимает его. Не понимает, чего он хочет. С другими ребятами так просто, а с Максимом нет. Чего он хочет? Вот даже этот, Дима! Он талантливый и умный, а все равно виден как на ладони!..

— Если бы я был на месте отца, если бы я был архитектором,— торопился выговориться Дмитрий,— я бы весь отдался архитектуре будущего. Вот вы взгляните, Зоя, на это убогое строение...

Дима показал на светящийся окнами крупноблочный дом, самый обыкновенный, какие в последние годы там и сям вырастали в городе. Именно в таких домах получили квартиры десятки ее знакомых, с кем работает на заводе ее отец. Ничего плохого, предосудительного в этих домах Зойка не видела. Дмитрий же смотрел на них иначе... Он тянул ровным баском, чаще и чаще поправляя дужку очков на переносице:

— Разве такие нелепые строения нужны нам, людям, вступающим в коммунистическое общество? Не-ет! И я убежден в этом. Герой одного из рассказов Алексея Толстого еще в двадцатых годах мечтал о голубых городах. И я считаю, что подошло уже время, когда можем мы строить свои голубые дома... Построили же в Москве высотные здания. Как они вписываются в общий ансамбль города, украшают его! Ведь старая Москва — это город церквей. Они тоже по-своему вписывались в ансамбль, они тоже нужны были Москве, конечно, в смысле архитектурном... Теперь в новой Москве их заменили эти прекрасные, ажурные, легкие здания!

Похоже, Дмитрий уже начал волноваться. Он сбился с ровного тона, говорил все быстрее и быстрее и все крепче и крепче прижимал локоть девушки, пока она не взмолилась:

— Мне же больно, Дима!

— Извините! А вы не были в Москве, Зоя?

— Нет.

— А-а!.. Эти высотные дома весьма неплохи, и зря их, по-моему, ругают, зачеркивают. Нельзя же все зачеркивать, правда?

Потом он говорил о неведомых Зойке горизонталях и вертикалях в архитектуре, сравнивая их, энергично расчеркивая тонким пальцем синий воздух перед Зойкиным лицом, мешая ей идти. К речи его вдруг примешались му-

зыкальные термины, значение которых тоже не сразу понимала усталая Зойка.

— Должно быть сочетание вертикалей и горизонталей, Зоя! Вертикальных, башенных зданий и горизонтальных, как эта вот школа! Вертикаль в моем представлении — это форте, мажор... Горизонталь же — пиано, минор! Должно быть сочетание. В центре города собираются дома башенного типа... Это звучит фанфарно, празднично!.. Правда, здорово, Зоя?

— Да...

Конечно, все это было интересно, но сейчас Зойка думала о Максиме, и ей очень-очень хотелось, чтобы рядом с ней шел сейчас не этот маленький, «интересный» студент, а «ее», интересный для нее Максим Крыжов.

— Вот мы и пришли. До свидания, Дима!

Дмитрий, опустив Зойкин локоть, огляделся. Они стояли на трамвайной остановке, и рядом тоже стояли люди. Подходил трамвай.

— Мне пора, Дима. Спасибо!

— Я с вами, Зоенька! Я провожу вас!..

— Что вы, Дима, в такую даль! Не нужно, нет-нет!..

— Но мы увидимся, Зоя?

— Конечно!

Она очень спешила домой.

IX

Да, дома у Зойки было иначе, чем у Арсентьевых. Мама ее, Александра Тимофеевна Голдобина, а в доме по Заводской и в цехе попросту Саша, совсем не похожа на Нину Степановну Арсентьеву. У нее нет того образования, воспитания, и жизнь ее сложилась совсем по-другому. (Впрочем, Зойка и сама не знала, какую жизнь про-

жила та, мама Ларика, работающая нынче в горсовете, на хорошей должности.)

На втором году замужества, когда только что пустили Уральский завод и очень нужны были люди, молоденькая бойкая Саша, оставив грудного на руках соседской бабки, пошла в кузнечный цех крановщицей. Голдобин возражал:

— Куда ты? Без тебя обойдемся!..

— Да ты без меня кусок не посолишь, молчи уж!

— Ваську пожалей, на чужих людей кидаешь!

— Кому чужие, а мне нет, у меня все родня!

И не отстала от мужа, работала с ним бок о бок года три, пока не затяжелела Елизаветой. Тогда уволилась и до самой войны хозяйствовала дома, в тесной комнатенке барака, которого сейчас уже нет и в помине. Началась война, Голдобин сутками не выходил с завода. Вернулась туда и Александра Тимофеевна, устроив в ясли маленькую Зойку.

После войны она опять сидела дома, теперь уже в просторной, из трех комнат, квартире в доме ИТР на Заводской. Почему ушла с завода, и сама точно не знала. Может быть, просто устала за войну, а может быть, поддалась настояниям и уговорам мужа. Сыграло, конечно, свою роль и то, что старшая Лиза вышла замуж и уехала на Дальний Восток. А без хозяйки в доме Голдобин не мог, потому и настаивал, чтобы Александра уволилась.

Сначала она и в самом деле отдыхала, наслаждалась покоем и тишиной новой квартиры. Часами возилась с курносой болтушкой Зойкой, по кулинарной книге заново училась варить обеды: в магазинах появилось больше продуктов. Приходили соседки, люди все свои, заводские, и разговорам не было конца. Чаще других забегала Анна Семеновна, худенькая женщина с черными вечно запла-

канными глазами. Ее оставил муж-инженер, оставил с двумя детьми, она очень переживала, и Александре то и дело приходилось утешать ее. Год спустя муж попал в авиационную катастрофу, и Голдобиной снова пришлось утешать соседку, совсем потерявшую голову от горя.

Покоя, в общем-то, не получалось. Жизнь врывалась в тихую квартиру, будоражила, заставляла думать и волноваться. Больше всего, не ведая сам, будоражил Голдобин. Нет-нет да и проронит между прочим:

— А Коренева-то Мария... Помнишь?

Новость обжигала Александру. Маша Коренева, еще недавно совсем молоденькая девчонка, которую она, Александра, учила на крановщицу, смотри-ка, и техникум уже закончила, и в лабораторию ее нынче взяли... Инженер почти! Ну, конечно, молодость...

Или:

— Климов объявил сегодня: цех реконструируют, коробку будут расширять... Дела-а!

Александру Тимофеевну это тоже задевало. Цех, в котором она столько проработала, стал ей, как говорится, вторым домом, и все, что случалось в этом втором доме, не могло не трогать ее. Поэтому, когда однажды Голдобин сообщил, что ЦКБ закончило конструировать манипулятор для кузницы, Александра, с трудом сдерживая нетерпение, попросила:

— Пойду я, Саша...

Голдобин не понял:

— Куда пойдешь?

— Сам знаешь... Работать.

— Куда еще работать?

— Да на манипулятор этот!..

Голдобин фыркнул:

— Сиди уж, старая!

Он не сразу узнал, что Александра ходила к Климову и просила принять ее на работу. Как-то придя вечером домой, снимая в прихожей сапоги, бросил ей хмуро:

— Тебе Климов велел зайти... Завтра к девяти.

Александра улыбнулась в горсточку.

Весь вечер она была на редкость ласкова с мужем. Изжарила ему любимую яичницу с салом, выставила четвертинку. А он дулся, пыхтел, топорща прокуренные усы, и не разговаривал. Но яичницу съел, тщательно подобрав янтарные капли ломтем хлеба, допил и водку. Так и не сказав ни слова, ушел спать.

Через месяц Александра Тимофеевна уже работала. Она стала первым машинистом первого в цехе манипулятора.

* * *

— Что, на перековку прислали? — усмехнувшись, спросила она Крыжова в то утро, когда он появился в бригаде Кабакова.

Максим взглянул на нее исподлобья. Втайне он побаивался, что голдобинская супруга встретит его с той же неприязнью, с какой проводил Голдобин. Но оказалось не так, Александра Тимофеевна неожиданно дружески потрепала его по плечу:

— У отца тяжелый характер. Я тоже ушла из его бригады тогда, два года назад. Надоело мне!..

Да, Максим знал, что Александра Тимофеевна начинала работать у мужа, а потом ушла. Почему? И сейчас он не сразу поверил ей: «Утешает!..»

Но вряд ли Голдобина кривила душой. Максим всмотрелся в нее — крепкую, полнолицую, вгляделся в честные, молодо сияющие глаза и подумал: не хитрит, не притворяется... Не умеет притворяться!

— Александра Тимофеевиа,— сказал он,— надеюсь, мы ие будем с вами ссориться, как с Александром Аидреевичем...

Голдобина засмеялась.

— Не заглядывай вперед, милый! Мало ли что!..— И сразу посерьезиела: — Вои Кабаков идет... Скажет, куда тебе вставать.

Повериувшись к Кабакову, Максим все же краешком глаза уловил, как ловко взобралась иемолодеиькая Алексаидра иа высокое сидеиье машины, похожей иа первобытиый автомобиль, и как увереиио взялась за рычаги. Подошел Кабаков. Сжал руку Максима крепко, будто проверял силу и иадежиость новичка, и близко заглянул ему в глаза.

Оба знали друг друга около года, с того времеии, как Максим пришел в цех. Кабаков был здешиим, на Уральском заводе работал с мальчишеских лет и, работая, беспрерывио учился. Сейчас ои, кажется, закаичивал политехиический институт. Этот кореиастый, белобрысый, с моложавым лицом и энергичными движеииями человек был симпатичеи Крыжову. Вериый своему характеру, Максим ие очеиь-то «рассиропивался» перед иим, симпатии своей ие демоистрировал, но, когда случилась ссора с Голдобииым, первой мыслью его, скорее подсозиательиым решеиием, было перейти в бригаду Кабакова.

Был между иими такой разговор:

— Возьми меия к себе, Николай Ильич!

— Возьму.

— Уже решил?

— Решил. У меия Шевцов иа пеисию собирается, так поневоле решишь... Пойдем к Климову.

Климова ие было, и все уладили с его заместителем Аркадием Ивановичем Чудииовым. Стареиький Чудииов, поправляя очки в железиой оправе, добродушио заметил:

— Думали материал о вашем скандальчике, Крыжов, передать в цехком, да ладно уж... Ты, я слышал, в кандидаты партии подал? Вот там и поговорим!..

Поздоровавшись сейчас, Кабаков ничего не сказал Максиму и, как будто бы Крыжов работал здесь всегда, сразу приступил к делу.

— «Шестерку» дали? Отлично!..

Отковать «шестерку» — непростая штука. Кабаков быстренько расставил людей по рабочим местам, кивнул Максиму на место третьего подручного, ближе к молоту, в самом жару, и Максим обрадовался: он сразу же получил возможность показать себя, «свою работу».

— Давай, Саша! — махнул Кабаков Голдобиной, и та, торжественно, как на троне, восседая в кресле манипулятора (вместо короны — алая косынка), плавно тронула по рельсам стальную махину. Толстый хобот манипулятора, расцепив челюсти, ткнулся в розовое марево нагревалки, заглотил поковку, и, бойко развернувшись, надвинул ее, мгновенно начавшую «таять» в прохладном воздухе, на наковальню.

— Наложи! — негромко, но четко приказал Кабаков, и машинист Василий Горюнов, почти интуитивно выхватив из гула и шума привычную команду, надавил на рычаг и бережно, почти нежно, «наложил» трехтонной силы боек на мерцающую поверхность металла.

— Бей раз! — снова скомандовал бригадир, и снова Горюнов послушно передвинул рычаг.

Работа пошла. И хотя черед Максима пока не наступил, он внутренне напрягся, чувствуя, как вздрагивают мускулы, невидимо подчиняясь рабочему ритму, ритму молота. Он не отводил взгляда от поковки, которая под резкими ударами молота все сильнее и сильнее сплющивалась, и ждал момента, когда нужно будет заменить перегревшийся пуансон. Наступил этот момент, и его пре-

дельно напружиненные мускулы в одно мгновение включались в работу; хобот манипулятора оттянул назад заготовку, и Максим, а с другой стороны подручный Пермяков ловко подхватили клещами пуансон и рывком убрали его с наковальнн. Еще мгновение, и новый штамп, негативно повторяющий шестерню, тем же сильным рывком был водворен на место. Максим уловил на себе взгляд бригадира, сначала беспокойный, настороженный, а потом ласково ободряющий, и, довольный, мысленно ухмыльнулся.

В перерыве Александра Тимофеевна, мягко спрыгнув со своего трона, спросила Крыжова:

— Ну как, милок, наломал рученьки? У нас не у отца, поковка не та... Потяжельше.

Максим, протирая ветошью дрожащие пальцы, молча посмотрел на нее. Чем-то она нравилась ему... Чем? Может быть, веселой иронией, мягкостью. И улыбкой своей, светом зеленоватых глаз напоминала она Максиму Зойку.

Груб он был с Зойкой тогда, по телефону... Верно. Но ведь сердцу не прикажешь! А сердце? Оно к другой тянется...

X

Сердце тянется к Станиславе. Не раз он видел ее во сне, тоненькую, голубую. Во сне она была нежна с ним; он просыпался, ощущая кожей лица ее теплое дыхание. Нехотя открывал глаза и долго лежал молча, вспоминая. Ему казалось, что все это было уже в действнтельности. Но в действительности этого не было.

В бнблиотеку он иногда захаживал. Станислава встречала его приветливо, но отчужденно. Как-то он пригласил ее в оперу.

— Вот как? — прищурила Станислава подчерненные

глаза.— Вы, Крыжов, начинаете за мной ухаживать? Очень приятно!

Но в театр пойти согласилась.

Слушали «Половодье» — оперу, написанную здесь же, на Урале. Максиму она нравилась. Он неотрывно смотрел на расцвеченную сцену, правда, ни на минуту не забывая, что рядом Станислава и что ее тонкая в запястье рука покойно лежит на жарком бархате подлокотника, касаясь его руки.

А он не мог быть в покое. Станислава рядом, и музыка такая... В музыке — ключевая свежесть песен, родных, уральских, слышанных в детстве и остро напоминавших детство.

В антракте Станислава смеялась:

— Самодеятельность! Не так ли, Крыжов?

Максим взглянул на нее хмуро. И тут же хмурость слетела. Он не мог сейчас сердиться на Станиславу: так обаятельна, просто великолепна была она сегодня! Пушисты светлые волосы, упавшие на узкие плечи, на платье — черное, тонкой шерсти, в праздничном сиянии глаза, и нежно голубеют в улыбке ровнехонькие зубы...

Он возразил мягко:

— Ну почему же самодеятельность? Хороший спектакль, по-моему!..

И она вдруг согласилась, сказав серьезно:

— Да, Максим. Мне тоже нравится.

В антрактах они прогуливались по светлому кольцу коридоров в шелестящей толпе. Разговаривали мало. Станислава, замечал Максим, с любопытством и чуточку ревниво разглядывала нарядных женщин. Максима смешило это, он-то уж наверняка знал, что она красивее всех. Потом внизу, в сверкающем буфете, выпили шампанского, и Станислава еще более оживилась, совсем очаровав Максима.

— Поедемте после театра куда-нибудь! — предложил он.

— Куда?

— Н-ну... прокатимся! Можно в аэропорт. Там ресторан работает.

— Максим! — расхохоталась Станислава.— Откуда в вас этакое пижонство? Не ожидала! Рабочий класс и такие... штучки!

Максим догадался: шутит. Попытался уговорить, но Станислава отказалась наотрез.

— У меня же сын, Максим. Я оставила его у знакомых. Понимаете?

Максим кивнул. Он не знал, что у Станиславы сын, как, в общем-то, не знал почти ничего о ней... И сейчас, услышав о сыне, почувствовал одновременно отчуждение, вернее, «взрослую» недосягаемость этой женщины и теплое к ней сочувствие.

— Хорошо, хорошо! — покорился он.— Никуда не поедем... Сегодня во всяком случае.

В тот вечер он впервые проводил ее. Такси не нашли и долго тряслись в автобусе, разъединенные людьми. Жила Станислава на окраине в построенном до войны деревянном доме. Поднялись на второй этаж. Максим надеялся втайне, что его пригласят, но Станислава мягко и, как показалось Максиму, понимающе улыбаясь, протянула руку в перчатке.

— Спасибо. До свидания, Максим.

Дня через три, отоспавшись после ночной смены, Максим, теперь уже не ожидая приглашения, сам нагрянул к Станиславе домой.

В темном дворе, где стыло развешанное на веревках белье, он задержался, гадая: дома или не дома? Потом поднялся по неосвещенной лестнице и постучал в дверь, перекрещенную по кошме планками.

— Кто? — спросил голос через дверь, и сердце Максима покатилось: «Дома!» Он даже не сразу ответил. Но Станислава уже открыла дверь и, увидев Максима, протянула удивленно: — Вы-ы, Максим!

Максим стоял, опустив отяжелевшие сразу руки, и улыбался, Станислава тоже улыбалась, обрадованно, будто ждала. Бледное лицо ее порозовело и сделалось под цвет старенького сарафана, туго стянувшего девически тонкую талию.

— Проходите, Максим!

И Максим перешагнул порог.

В желтом коридорном свете успел он заметить лишь ободранные сундуки вдоль стены да корыто на гвозде — и это никак не увязывалось со Станиславой, женщиной, по его представлению, совсем из другого мира. И то, что минутой позднее он увидел в ее комнате — обстановку далеко не роскошную! — тоже не очень-то увязывалось со Станиславой. Пусто. Посередине круглый стол, а на нем под низкой лампочкой грудой книги. Перед его приходом Станислава, очевидно, что-то писала: перо рядом с ученической «непроливашкой» влажно блестело.

— Я не помешал, Станислава?

— Помогли даже! — засмеялась она, заглядывая в зеркало. Я так устала сегодня... Да раздевайтесь вы, пожалуйста!

Повесив на гвоздь пальто, Максим прошел к столу, с любопытством тронул раскрытый том: «Творчество Достоевского...»

— Решила подогнать немножко, к сессии! Да уже очень скучно стало!

— Университет?

— Да, передала документы сюда... В ваш. А начала во Владивостоке, тоже на заочном.

Действительно, ни черта он не знал о Станиславе.

Приехала она сюда из такой дали, с Востока... А почему?

— Долгая история,— поморщилась Станислава.— Не хочется рассказывать!

— Ну, а все-таки, Станислава! — настаивал он, понимая, что это и не очень-то тактично.— Расскажите!

— Потом, Максим! А сейчас... Хотите чаю?

— Не стоит, Станислава! — Максим вспомнил Зойку и как в последний раз чай с нею пил и предложил вдруг: — Чаю не стоит, а может быть?.. Я могу...

— В аэропорт, да?

Максим уловил шутку и поднялся, чтобы одеться. Станислава жестом задержала его:

— Ходить не нужно. Если хотите, у меня есть.

И достала из-за дивана початый коньяк. Максима почему-то не обрадовало это обстоятельство: нехорошо немножко, нечисто стало на душе.

— Только вот больше ничего нет! — развела руками Станислава. Мелькнули в легких рукавах худенькие локти.

Максим молча выложил на стол купленную по дороге плитку шоколада.

Она не удивилась. Осторожно взяла шоколад и, держа его в одной руке, на ладони, как бы взвешивая, а другой опершись на спинку стула, прочитала медленно и тихо:

Я не знаю,
Что такое «независим».
Мы зависим от случайных
Слов и писем,
От чужого
Невнимательного взгляда,
От тяжелой
Плитки шоколада...

Максиму даже не по себе стало от этих медленных, как капли, падающих слов.

— Это... ваши стихи, Стаиислава?

Оиа подияла серьезное лицо:

— Нет, не мои, Максим. Я писала хуже.

— А чьи же?

— Одной жеищииы. Прочитала иедавио ее стихи и о ией. И запомнилось.

Оиа еще что-то говорила о стихах и о той жеищиие, а Максим молча смотрел на иее, любуясь и думая. «Кто же ты такая, Стаиислава?» — спрашивал он мыслеино, а вслух ие спрашивал: все равио ие ответит, отшутится, посмеется. И он сказал иарочито весело, затем только, чтобы поддержать этот ие совсем увереиио завязавшийся разговор:

— Почему же вы бросили писать стихи, Стаиислава? Я ие верю, что у вас бы не получилось!

— Почему «ие получилось бы»? Просто ие получилось! — рассудительно поправила она.

Вот так оии и разговаривали, как люди совсем малозиакомые. Станислава ие открывалась больше, ие пускала в себя. А Максим иаблюдал лишь и думал.

Потом кто-то забарабаиил в иаружиую дверь. Сын!.. Стаиислава, будто ждала, вскочила, помчалась открывать.

Володя, коиечио, уже предупреждеиный, вошел в комнату важно, но карие его глазенки иа раскрасиевшейся рожице, туго стянутой меховыми ушами, горели любопытством. От дверей сказал:

— Здравствуйте! — И представился солидио: — Владимир.

— Здравствуй, Володя! — серьезно ответил Максим и, подойдя, протяиул руку.

Володя поиравился ему. Париишка очень живой. Был

у него крохотиый иос в веснушках. Освоился мальчик молиеиосио. Через пять мииут буквально «прилип» к гостю, ие отходя от иего ии иа шаг. Стаиислава сделала сыиу одно-другое замечание, ио он не уиимался. Так и ие отходил от гостя. Потом с грохотом вытяиул из-под кровати старый чемодаи с игрушками, похвалился крокетом и вдруг — мать в эту мииуту вышла из комиаты,— с самого диа чемодана, из-под игрушек, вытащил поломанную фотографию.

— Что это у тебя там? — заинтересовался Максим, протягивая руку.

— Это мой папа! — шепнул Володя, оглядываясь.

На сиимке был изображеи морской офицер, капитаи третьего ранга. Белый чехол фуражки резко оттенял чериоту бровей.

Вошла Стаиислава, и Максим спрятал фотографию под стол, а потом незаметно — ие подводить же человека! — сунул ее Володе.

Стаиислава, кажется, иичего ие заметила. Нет, заметила! — поиял Максим,— и догадалась. Она чуточку-чуточку покраснела и сразу, скрывая смущеиие, отошла к зеркалу.

«Что в том особенного? Почему она так?» — подумал Максим.

Скоро Володю отправила спать. Мать постелила ему иа диваие, ои поворочался, путаясь в простыиях, и засиул. Максим, пока мальчишку укладывали, так и ие мог решить: пора или ие пора ему уходить; взял с этажерки киигу, тот же самый том о Достоевском и листал его.

Стаиислава, освободившись, подсела к столу. Подперев узкой ладоиью щеку, задумчиво глядела на Максима.

— Так расскажите же, Стаиислава! — тихо попросил ои, ие подымая головы от книги.

— Что, Максим? Вам, по-моему, и так все ясно. Не

правда лн? Ну, была семья, муж... Не стало семьи. Кто вииоват? Не зиаю. Может быть, я... Не иужио об этом! — И сразу переводя разговор на другие рельсы: — А что вы там изучаете? Поиимаю! — И с какнм-то ожесточением: — Критикуют бедиого Достоевского? Нельзя писать о страдаиии, да? А еслн...

Было в голосе Станнславы что-то такое... Сейчас или засмеется, нлн заплачет.

— Ну почему же нельзя пнсать? — серьезно возразил Максим.— Ведь пншут же...

И брякнул вдруг неожнданно для себя:

— А вы миого страдали, Стаииславa?

— Я? Нет, Макснм. Я только, только...

И Макснм с ужасом заметил иа ее глазах слезы.

— Станислава! — Он тяжело навалнлся на стол, весь потяиулся к иeй. Сказал утешающе: — Стаинсла-ава! Ну, разве можно?

Лучше бы не говорнл он так! Стаиислава вдруг резко отвериулась, упала лицом в ладонн, прижатые к спинке стула, зарыдала. Володя беспокойио шевельнулся во сие. Максим вскочил, обежав стол, крепко н нежно взял ее за плечи. Оиа затихла, ие дрожала, худенькне плечи ее, ощутил Максим, налнлись жаром. Он иаклоиился и осторожио поцеловал ее в теплые волосы. Шепнул.

— Станислава!..

Было счастливое желаине помочь, отдать ей все.

— Станислава, я люблю вас... И выходнте за меня замуж!

Сказал, как в студеную реку бросился... Перед глазами перегнутый портретик капнтана третьего ранга. А рядом, в двух шагах, разметавшнйся иа простыиях Володя. Но, главиое, рядом Станислава!

О том, что Макснм сказал ей сейчас, он не думал еще вчера, не думал еще час, полчаса назад. А сказал н

понял, что это — решение. Оно подготовлено всем-всем передуманным за этот весенний месяц. Решение окончательное.

* * *

Перед уходом онн еще говорили об этом.

— Я не могу, Максим, ничего тебе сказать сегодня,— говорила Станнслава, ласково н прямо глядя ему в глаза.— Я подумаю н скажу. Хорошо?

— Согласен.

И он, договорнвшись встретнться через день в городе, стал собнраться.

Напоследок еще раз оглянул комнату... Туманное зеркало в углу, голая лампочка над столом. На столе в узкой бутылке так н не допнтый коньяк н надломленная с угла «тяжелая» плитка шоколада.

И Станнслава. Навсегда запомннл ее такой, до боли краснвую в то мгновение, любнмую... Бережно обнял ее, н она подалась вся, броснв рукн ему на плечн. Поцеловал в покорные губы. Пьянея от счастья, подумал: «Жена моя!..» Рванулся поцеловать снова, но рукн ее вдруг запротестовали, отталкивая. «Не н-надо, Максим!» Станнслава отвернула лнцо, н он, не поннмая, отпустнл ее. «Почему?..»

Нет, она уже с прежней улыбкой, ласковой и благодарной смотрела на него. Только в серых глазах растерянность, смятение...

Такой и запомннл.

XI

В конце смены Максима разыскал мастер Крнвобок и, требовательно дернув за рукав, сообщнл:

— Четыриадцатого, Крыжов, партийиое собраиие. Так ты будь готов. Все докумеиты, какне говорил тебе, подготовь к завтрему.

И отбежал от молота, мелькнув в пролете сиией кепкой, блиином осевшей иа седой, крепко всажеииой в крутые плечн голове. Кривобок, несмотря иа солидный возраст, все бегал. В партбюро цеха был ои, кажется, самым эиергичным человеком.

Прошумел гудок, упал в последиий раз молотовый боек, с грохотом вышибив из запламеиевшей поковкн белые искры, и Крыжов иехотя броснл иа земляиой пол тяжелые клещи. Машиинст Вася Горюнов, успевший уже сгонять к будке с газнроваиной водой и залпом опрокинуть там искрящнйся в солнечиом луче стакаи, поторапливал:

— Быстрее, Макс! Опоздаем!..

— Не пойду я...

— Да ты что?

Крыжов, улыбаясь, покачал головой:

— Нет, Вася, не могу сегодия.

— А билеты? — заорал Василий: за бнлетами иа новую кинокартину бнлся он в очереди часа два.

— Девчат прихвати!..

Прибрав инструмеит и суиув на ходу руку рассержениому Горюнову, Макснм скрылся в душевой. Здесь сегодня ои задержался дольше обычиого: свирепо, до красноты растнрал мочалкой усталое тело; смывая мыло, шпарил себя горячей водой.

От крыжовской кабннкн подымались клубы пара. Кто-то, длиииый и сутулый, проходя мнмо и ступив в кипятковую лужу, выругался. Ополосиув иамылеииое лицо, Максим всмотрелся и с трудом узиал Голдобина. Был тот худ до костлявости, бугристые мышцы иа руках и ногах резко просиieны венами. Отметил про себя: болеи ста-

рик... Расширеиие веи — профессиоиальиая у кузиецов болезиь: тяжелая работа, все иа ногах... И впервые, кажется, с того времеии, как старик выгиал его из бригады, у Максима шевельиулось к иему доброе чувство. И еще жалость. Притих, ие гоготал от удовольствия и ие плескался, чаще и чаще посматривая иа Голдобииа, обстоятельио продиравшего пальцами рыжеватые, в мыле, волосы иа голове. Завершив мытье и ие ответив иа приветствие молодого голого соседа, Алексаидр Аидреевич пошел одеваться.

— Ох и зло-ой! — крякиул вслед обидевшийся Максим.

Через час ои был в общежитии, сидел одии и писал. С застелеииого клееикой стола было убраио все лишиее, все, кроме иескольких чистых листов с отогиутыми полями и авторучки.

Максим сочииял автобиографию. Коиечио, сочииеиа оиа была до этого самой жизиью, ио изложить все, что случилось с Крыжовым сызмальства, казалось ие меиее трудиым, чем пережить.

«Родился 18 июия 1936 года в селе Черемшанка... Отец — учитель. Мать — медициискнй работиик. С 1942 года по 1950 год воспитывался в детском доме...»

Биография была кручеиая, как жизиь. Трудио пересказать в сухих словах... Да и все ли о себе зиает Максим?

«Родился 18 июия 1936 года»...

Это деиь смерти Горького. Слышал Максим от людей, что Сергей Сергеевич, его отец, хотя и учил детдомовскую ребятию математике, а ие литературе, запоем читал киигн... Не потому ли в тот июиьский деиь, омрачивший его, крыжовское, счастье горем иародиым, решил Сергей Сергеевич иазвать крохотиого сыиа большим имеием?

А может быть, Крыжов-старший тешил себя надеж-

дой, что сын его тоже будет писать книги... Впрочем, кто знает, о чем думал и мечтал человек, давно и не своей волей покинувший родной дом.

Отец покинул дом и его, Максима, в 1937 году (обстоятельство, мучившее неосведомленного во всем Максима долгое время); в сорок первом его убили на фронте. За четыре года Сергей Сергеевич был дома четыре дня — с 22 по 26 июня 1941 года. По тем далеким дням и помнит его Максим.

Отец появился на пороге ранним утром — длинный, худой, негустой ежик на голове тускло серебрился в солнечном луче, разрубившем комнату. Мама, открывая ему дверь в сенцах, обессиленная в ту минуту счастьем, еле держалась на ногах, и отец одной рукой обхватил ее, а другой, согнувшись, неловко смазывал слезы с припухших глаз. Испуганный Максим не сразу догадался, что этот чужой человек с широкой светлой улыбкой на бледных губах — его отец. В первый, да и на второй день, мальчик, не сразу привыкнув, называл отца дядей...

В 42-м разбомбило санитарный поезд, где работала мама. И с 42-го детский дом в Черемшанке стал домом Максима.

И все же он отчетливо помнил тот дом, где когда-то жил с матерью. До ареста Сергея Сергеевича, работавшего в последний год директором детдома, семья снимала по дешевке громадную усадьбу и втроем жила в четырех комнатах. В усадьбу Максим часто забегал и тогда, когда остался без родителей. На всю жизнь остался в его памяти приземистый просторный дом с малиновыми наличниками, широкий, в зелени, двор с многими пристройками и пустой конюшней. Совсем близко от дома, помнит Максим, вздыбился на взгорке двумя древними домнами бывший демидовский завод, неторопливо поставлявший окрестному машиностроению мелкосортное же-

лезо. За глухим забором день-деньской громыхало, стучало, и это было не менее памятно, чем старый дом.

За домом, за конюшней желто простирался мятый ветрами пустырь; там, затаившись в траве с нитяным силком, славно было ловить краснобрюхих жуланчиков. Часами просиживал Максим с ребятами за кустом игольчатого боярышника, выслеживая цветастых пичуг в их суетных порханиях. Пленных красавцев сажал потом в самодельную клетку и в базарные дни выменивал на спичечную серу для поджига* да маковые ириски.

Но не об ирисках же писать ему сейчас в автобиографии, серьезном документе?.. Максим хмыкнул и, подвинув под собой стул так, что грудь под майкой больно сдавило краем столешницы, попытался было настроить себя на деловой лад. Теперь он, уже не отвлекаясь, деловито писал о том, что было с ним после ремесленного, техникума и после службы в армии: «...поступил на Уральский завод, в кузнечный цех...»

К заводу, к кузнице пролегла у Максима особая дорога. И старайся ни старайся он отбросить ненужные для дела воспоминания, все равно проклевывается в чуткой памяти день, когда впервые попал на завод, тот самый демидовский, в кузню. Провел его мимо благодушных охранников детдомовский сторож Степан Харимов, человек уже немолодой, но охотничьими своими повадками-привычками возрасту не отвечавший. С воспитанниками он держался на равной ноге, те, в свою очередь, звали его только по имени, тоже как равного, но и уважали.

— В кузню поведу тя, парень,— сказал Харимов, когда миновали заводские ворота, и подмигнул. Он подмигивал часто — к месту и не к месту, скуластому рябому

---

[1] Поджиг — самодельный пистолет, заряженный порохом или горючей серой.

лицу его это прндавало почти таинственное выражеиие.— Поглядишь, как лешакн орудуют. Звонко робят!..

Максим подумал, что ждет его в кузнице страшио интересиое, непоиятное... А потом разочаровался. Неуклюжая хнбара, в которой разместились кузиецы — «вспомогательиый цех», иикак ие совмещалась с громоздко-виушнтельиым, пусть и допотопным, оборудованнем всего завода: ухающей «бабой» на копровом дворе, кранами-подъемиикамн, чумовым паровозом, устало повизгивающим иа мокрых рельсах. Нырнув нз-под пушистой занавески дожднка-бусеица в черноту кузии, Максим поиачалу ннчего там ие увидел, кроме разве красио пыхающего гориа да двух иеясиых фигур, присевшнх на груду бросового железа и разговаривавшнх.

— Эй, хозяева-работиички! — крикиул в полутьму Степаи Харимов.— Мнхаил Спиридоиыч тута?

— Здесь я...

На свет к порогу вышел коренастый мужнк в гимнастерке, прожженной местами и без пуговиц по вороту. Встал, захватив косяки оголеинымн, перевитымн мускулами руками, заслоиив широким телом своего товарища в глубиие кузии и иеровиое, зыбкое пламя горна. Вглядевшись в Харимова, спроснл спокойио глуховатым голосом:

— Чего пришел, Степаи?

— Ружьншко поломалось, Михаил Спирндоновнч. Не поглядишь?

Кузнец молча взял из рук Харимова шомполку, осушнл теплой ладонью дождевые капли иа ее ложе, повертел, щелкиул истертым белым курком и, ие сказав ни слова, скрылся в хибаре. Степан иерешительио потоптался у порога, потом, подтолкнув мальчика вперед, шагнул следом за Мнхаилом Спиридоновичем.

Теперь Максим мог как следует рассмотреть кузию.

Посреди хнбары, где воздух, казалось, загустел, пропнтаниый жаром раскалеиного железа, запахом пота и несвежей воды в бочке, поблескнвала тупоиосая наковальия. Слева от иее иа дощатой подставке аккуратио уложеиы молоты, и тут же — гори. Земляиой пол вокруг грязно-красиых мехов, пристроениых к гориу, усыпан растоптаииым углем н пеплом.

Харнмову прншлось долго ждать ответа. Мнхаил Спиридонович будто позабыл о ружье. Ои что-то долго втолковывал своему подручиому, тыча тяжелой рукой в стороиу гориа, где калился в пламени матово-белый кусок железа, н все это время просто не обращал вннмання ин иа Харнмова, нн иа Макснма. Накоиец, он кнвиул Харимову: «Сделаем!..»

Макснм повериулся было к выходу, ио Степан удержал его за плечо: «Постой, Крыжов! Погляднм, как ковалн робят...»

Без особого ннтереса иаблюдал Максим за действиями Миханла Спнридоновича н его подручиого — жилнстого, веселоглазого, под машинку острижеииого пария, который в такт ударам молота непремеиио гхакал: «Гха-гха-а-ак!» Так, иаверное, это гхаканье и осталось бы единственным, что запоминлось Максиму, если бы Михаил Спирндоновнч вдруг ие обернулся к нему.

— А ну, оголец, нспытай кузиецкое счастье! — н протянул Макснму самый малый по велнчнне молот.— Хряпнн раза два, а я чуток передохну.

Подручный, по именн Ваня, как узиал потом Крыжов, опять гхакиул н подбросил на иаковальию запламеиевший кусок железа. Макснм, покрасиев, поднял молот, который так н норовил выскочнть нз рук, и, думая только о том, чтобы не промазать, хлопнул им по наковальне.

Ваня захохотал, выпятнв живот в драной майке, а Мнхаил Спнрндоновнч только покачал головой.

— А ну еще ударь, да не торопись!..

Максим, сжав зубы, снова поднял молот и не промазал, что было силы брякнул по железной пластинке. Пластинка расползлась по наковальне.

— Добро! — остановил мальчишку Михаил Спиридонович.— Будет из тебя кузнец!

Максим оторопело вскинул взмокшее от напряжения и похвалы лицо. Он никогда и не думал стать кузнецом. Мечтой Максима было стать военным летчиком, вроде тех героев, которые еще совсем недавно летали ночами бомбить фашистский Берлин...

— Ты забегай к нам, друг! — сказал Михаил Спиридонович...— Научим робить — пригодится!..

Пригодилось. Не думал Максим, что тот дождливый день в Черемшанке закажет ему настоящую дорогу в жизни.

XII

Над городом дымчато-желтым куполом висит небо, вобравшее в себя миллион электрических огней с земли. Громадные заводы в городе дымят денно и нощно, пачкая небо, и редкие стриженые тополя вдоль улицы и сосновые боры в окрестностях обязаны перекачать эти сизые, желтые, черные дымы в обыкновенный кислород, чистый воздух, который так нужен людям. Люди работают на заводах. В городе, поднявшемся на невидимой границе двух частей света, их живет около миллиона, сильных волей и умением. На своих заводах они могут сделать все, что когда-либо придумывали на земле: от швейной иголки до космического корабля... Такие в этом городе люди.

Сегодня на высвеченных огнями улицах гуляет весенний ветер. Это очень хорошо, когда в холодный край при-

ходят тепло и солнце. Солнце, правда, уже скрылось, но теплый след его стелется по многолюдным улицам, куда, радуясь первой весенней благодати, вышли все, кто свободен от работы и от забот в этот вечер.

Максим Крыжов свободен. Он взял на сегодня отгул за те две смены, что работал дополнительно в конце марта. Он свободен, но спешит, потому что сердце его никак нельзя считать свободным...

От рабочего общежития Максим поехал трамваем. На частых остановках сердце его начинало беспокойно колотиться, и он хватался за рукав, взглядывая на часы. На повороте заметил такси и, не раздумывая, спрыгнул. Через несколько минут машина высадила его на берегу почерневшего городского пруда.

* * *

Уже полчаса мается Крыжов в толпе гуляющих. Он то стоит, опершись о чугунную решетку, и глядит на пустынный лед, то бродит вперед-назад вдоль той же решетки. Станиславы нет. Почему?

Над городом, над прудом, по-прежнему желто-дымчатым куполом висит небо. Сейчас оно еще желтее, хотя на земле уже полные сумерки. Густая толпа шуршит-шуршит по мокрому асфальту мимо высокого грустного человека; люди в толпе говорят вполголоса, смеются тоже негромко — это создает другой, досужий шум вечернего города.

Станиславы нет. Напрасно Максим ищуще вглядывается в прохожих, порой ему даже кажется, что он видит ее — тоненькую и очень стройную. Неподалеку прошла женщина... Она! Максим шагнул к ней, но та обернулась, и он, смущенный, подался на прежнее место. Нет Станиславы. Почему?

Он вспомиил, как был счастлив позавчера, услышав от иее обещание прийти. И вот, пожалуйста!.. Она не пришла...

В ярости, вдруг иахлынувшей на него, Максим рваиул обеими руками чугунную оплетку, но тут же расцепил занывшие пальцы, горестио усмехнулся и, не оглядываясь, быстро пошел к трамвайиой остаиовке.

Трамвая ие было, и Максим не стал ждать: зашагал вперед по той же трамвайиой улице — узенькой, старой, скудно освещенной редкими фонарями. Ои шел, суиув кулаки в кармаиы пальто, часто спотыкаясь на избитых камеиных плитах, и думал о Станиславе. На мгиовение представилось, что оиа здесь, идет с ним рядом по этим избитым плитам. Она тоже спотыкается в темиоте, и всякий раз его пальцы сжимают ее локоть. Стаиислава ииже ростом, плечо его чуть не вровень со светлой прядью ее иа щеке. Максим так живо представил все это, что даже вздрогиул, повернув вдруг голову и ие иайдя Стаиславы.

Весенняя хмарь, тепло, иастоеииое иа запахах вспотевшей по весие земли, кружили голову, заставляли сердце колотиться сильио и больно. Комок обиды, близкой к отчаянию, подступал к горлу пария, и даже весна сейчас была ему ие мила.

Когда Максим, мииовав мрачиую улицу, вышел иа простор современных кварталов и точно сразу переиесся в другой мир, светлый, громадный, где стройиые дома, казалось, достигали крестиками телеаитеин до самых голубых звезд, его обогиал трамвай. Трамвай был почти пуст, ярко освещеи, мчался быстро, торпедиым катером разрезая темь, и, выскочив из нее, мгновенно растворился в сияиии иового проспекта.

Среди иемиогих пассажиров за тумаииыми стеклами Максим заметил жеищииу, похожую на Станиславу.

Вспомнил, как обознался на пруду, и только махнул рукой.
Уехал Максим со следующим трамваем.

XIII

Днем, в перерыв, он зашел к Станиславе в библиотеку. Спросил недоуменно и зло:
— В чем дело, Станислава?
— Подойди сюда, Максим, пожалуйста...— И когда подошел: — Я должна тебе объяснить... Понимаешь, приехал муж. Я не ждала, ты знаешь... И я, наверное, уеду.
Это было днем. А вечером заседало партийное бюро.
На бюро Максим, усилием воли забыв случившееся, пришел внешне спокойным. С порога просторной и солнечной в этот час комнаты бросил по-матросски бойко:
— Разрешите?
Сидевший напротив Рогачев сдержанно кивнул, заметив:
— Опаздываешь, Крыжов!
Максим посмотрел на часы — стенные, с темной трещиной через весь циферблат, отметил про себя: «на четыре минуты». И оттого, как было сделано замечание, и оттого, что увидел насупленного Голдобина, на душе стало совсем неуютно. Он снова постарался побороть себя, продолжал держаться свободно, с улыбкой. Легко ответил на вопросы, а на чей-то: «женат?», проглотив горький комок, отшутился даже: «молод еще!»
— Не очень-то молод! — усмехнулся Рогачев.— Пора и серьезней быть.
И снова кольнуло недоброе предчувствие.
Задавали еще вопросы, и Максим отвечал уже без улыбки. Потом говорил Кривобок, он месяц замещал секретаря и до этого беседовал с Максимом. Умненько

поблескивая синими, как у девушки, глазами, Кривобок подытожил: «Годен!».

И вот заговорил Голдобин. Начал он тем же строгим, холодным тоном, каким недавно сделал Максиму замечание Рогачев. Смысл первых слов Максим не сразу понял, а когда понял, то веселая минутная стрелка на стенных часах перед глазами тут же застыла для него, будто зацепилась за трещину на стекле.

— Я считаю,— сказал Голдобин,— Крыжову рано подавать в партию...

Он сказал это тихим голосом, но с твердой, непоколебимой убежденностью, и все насторожились.

— Считаю,— повторил Голдобин,— Крыжова нельзя принимать в партию. Он еще не созрел! И дисциплины в нем нет. Да-да, я могу подтвердить это фактом! Взять случай, когда он, пацан, набросился на меня... Понимаю, не все знают об этом, и товарищу Рогачеву и начальнику цеха (молчаливый Климов поднял голову) я даже не жаловался, но факт был!

— Так расскажи сейчас, Александр Андреевич! — вмешался Рогачев.

Но Голдобин уже рассказывал. Со всеми подробностями, деталями, по мере своих далеко не артистических сил передавая интонацию и жесты Крыжова в тот злополучный день. Максим напряженно слушал, бледнея, готовясь решительно ко всему.

Выходило, что он не поддержал линию парткома в новом начинании. Оскорбил бригадира. Ушел из бригады, хотя согласия (!) бригадира на то не было, и т. д. и т. п.

Голдобин выложил все и сел, прямой и важный.

Рогачев поддержал его.

Максим растерялся. Он не знал, что сказать: все, что наговорил Голдобин, было злой чепухой, но чепухой правдивой, и против нее трудно было возражать.

Да, действительно, он не поддержал Голдобина в тот день, день «почина». Не поддержал, потому что считает: все это формализм чистой воды, никакая не инициатива, а чья-то выдумка «сверху». Он тогда не мог сказать это так прямо и отчетливо: сам не понимал до конца... А оттого, что сам не понимал, и наделал глупостей: по-мальчишески нагрубил старику, сбежал со смены, перешел в другую бригаду. И, выходит, прав теперь старик... Вслух он сказал:

— Я не против самого дела. Меня возмутил формализм... (Рогачев с безнадежностью махнул рукой). Голдобин ни с кем не посоветовался. Все решил за нас. А можно было продумать и сделать лучше!..

Рогачев прервал:

— И так неплохо получилось!

— Неплохо? Подсчитайте!

— Цыплят по осени...

— А зачем осени ждать? И сейчас ясно: провалили!

— Из-за таких, как ты!

Вмешался рассудительный Климов.

— Надо разобраться! — отрубил он.— Вопрос отложим.

Заметив беспокойное движение Максима, сказал, обращаясь только к нему:

— Ты, друг, не торопись. Партия — дело серьезное. Отказывать мы тебе не отказываем, но подумать следует. Вот на этом и порешим!

На этом и порешили.

XIV

Зойка пришла домой сразу же после занятий. Такое с ней бывало не часто, разве что в последние дни, когда она вдруг неожиданно присмирела.

Раньше еще по стуку двери в подъезде можно было догадаться, что это она. Выбив пулеметную дробь по лестничным маршам, Зойка влетала в квартиру, от порога к дивану взмывал голубем пуховый платок, бомбой на тот же диван плюхалась папка с конспектами.

— Мама, есть хочу, умираю! — кричала Зойка и мчалась на кухню, где мать, торопясь, зажигала газ.

А тут Зойка вдруг притихла. Вот и сегодня: пришла, лениво разделась, потом долго, как отец, плескалась под краном. Обедать не стала, лишь ковырнула вилкой котлетину... Мать исподлобья наблюдала за дочерью: «Что делается с девкой? Вроде бы здорова... Может, влюбилась?»

После обеда, взяв с этажерки книгу, первую попавшуюся, Зойка прилегла. Нехотя полистала страницы, проглядела одну-другую и сунула под подушку. Лежала с открытыми глазами, подтянув к подбородку край легонького одеяла. В висках колотило, мысли были отрывочны.

Вспомнила, как сегодня на лекции перебросили ей с соседнего стола записку: «Зоя! Дима передает привет, интересуется, где ты и почему не бываешь в городе. Что ему сказать или скажешь сама? К.»

Зойка мысленно выругала Киру за нарушение конспирации (был уговор: мужские имена в записках не писать) и порвала листок на мелкие клочки. В перемену, погрозив Кире кулаком, выбросила обрывки в форточку, мокрый ветер с налету разметал их и пришиб к земле.

Повернулась на бок, уткнув нос в цветастую обшивку дивана, и стала думать о Диме.

И почему это он спрашивает о ней, почему «интересуется»? Виделись один вечер, говорили с полчаса, а помнит, спрашивает. Чудно! А она не помнит. Даже лица. Какое у него лицо? И почему вообще у нее такая плохая память на лица?..

А вот Максим всегда перед нею. Так ясно его представляет, будто минуту назад видела...

Симпатичный он. Зойка еще тогда перед именинами во Дворце на вечере, когда девчонки показали ей на него, сразу обратила внимание и запомнила. Понравилось, что он большой, сильный и спокойный. Безмятежный такой и светлый, как июньский день. В тот вечер они даже не познакомились, не разговаривали.

Дима на разговоры больше горазд. Конечно, он студент, да и не просто какого-нибудь вуза, а консерватории. И из семьи интеллигентной.

У Максима, говорят, родители тоже были интеллигенты. Но теперь он один. Страшно, наверное, совсем одному быть на белом свете... Оттого и неразговорчивый такой.

Пронзительный звонок из прихожей стеганул по нервам — Зойка вздрогнула.

Это отец. После долгих сопений, покряхтываний в темноте подле вешалки мелькнула в дверном стекле его всклокоченная, взопревшая под шапкой голова. Увидев, что Зойка спит, Голдобин осторожно отворил дверь и на цыпочках, морщась от боли в ногах, прошел через комнату. Прищуренные Зойкины глаза разглядели красные стоптанные носки, связанные мамой. Через минуту, уже переодетый, отец прошлепал обратно. Зойка слышала, как он спросил:

— Не заболела дочь-то у нас?

Зойка рывком натянула на голову одеяло, сунулась опять в диванный угол.

Что на самом деле с ней творится? Вроде бы все в порядке, все ладно, а сердце ноет. Тоска какая-то. И никуда не тянет, никуда не хочется. И мысли все белыми лоскутами...

Может, погода виновата? Погода на дворе мозглая,

снег выжарило за какую-нибудь неделю, а потом устоялась заунывная мокрядь — небо в дырочках...

Из кухни донесся сипловатый голос отца. Он рассказывал о каком-то собрании и хвастал, что ему удалось всех «повернуть на свою точку зрения». Старик любил прихвастнуть; женщины в доме в таких случаях только перемигивались.

Вдруг Зойка услышала фамилию Максима... Насторожилась. Спрашивала громко мать:

— И чего ты прилип к Крыжову? Чем он виноват? Поругался с тобой, так ты и запомнил, мстишь теперь? Парень с чистой душой заявление подал, а вы? Сидорчука вон без всяких приняли, а ему, думаешь, партия нужна? Карьера твоему Сидорчуку нужна! И-эх, старый ты, старый!.. Хорошему парню дорожку затенили.

— Да никто не затенил,—буркнул отец.— Пусть сначала уважать кого следует научится!

— Ишь ты, уважа-ать! Уважать одно, знаю, тебе другое надо. В тебе культ сидит, вот что!..

— Что-о?

— Ничего.

В кухне установилось грозовое молчание. Вот-вот оно прорвется громом, молнией, бурей, и не так-то легко будет усмирить бурю. Зойка прислушалась, затаив дыхание. Часики на руке, прижатой к подушке, отстукивали громкие секунды. На кухне же было тихо.

Зойка бесшумно, котенком, спрыгнула с дивана, в одних чулках подбежала к двери. Откинув толстую штору, выглянула в коридор.

Мать стояла у окна спиной к Зойке. А отец? Зойка взглянула на него и теперь уже по-настоящему испугалась. Отец навалился боком на стол и тяжело дышал.

«Папа!» — хотела позвать она, но тут обернулась мать, пристально посмотрела на мужа и спросила тихо:

— Ты что, отец?
Вмешалась Зойка:
— Сердце, папа? Да?
Она бросилась в спальню, торопливо перебрала в тумбочке пузырьки с лекарствами, нашла «зеленинские», еще что-то с трудным названием и снова к отцу.
Потом отец лежал на диване, где только что маялась Зойка, а сама она с матерью оставалась на кухне. Александра Тимофеевна, виновато помаргивая покрасневшими веками, вполголоса каялась:
— Забываю все, что болеет, не сдерживаюсь. С ногами все хуже и хуже. Теперь вот и сердце еще...
— А что вы о Крыжове говорили, мама?
— В партию Крыжов подавал, а отец против выступил. У отца-то нашего авторитет! Ну, того и обидели, поворот дали. Очень переживает парнишка... Ты ведь знаешь его?
Зойка кивнула, слегка покраснев.
— Жалеешь?
— Жалею.
— Нервный отец стал. Совсем больной. Нельзя ему работать.. Ну-ка подойди к телефону, звонят!
— Сейчас.
Зойка побежала в комнату. Сорвав трубку и прикрыв ладошкой рот, ответила: «Слушаю...»
Спрашивали Голдобина, и голос был страшно знакомый. Зойка сказала, что отец болен, подойти не может... И вдруг узнала: «Максим! Забыв предосторожности, громко позвала в трубку:
— Максим! Ты слышишь меня? Это я, Зоя!.. Слушаешь!
На другом конце провода ответили не сразу. Наконец, донесся спокойный голос Крыжова: «Здравствуй...»

XI

Как-то, еще осенью, возвращаясь поздно вечером домой, Максим с улыбкой наблюдал за одним из прохожих. Пожилой дядька в расстегнутом пальто, не разбирая дороги, ступал прямо в подсвеченные фонарями лужи и все время что-то бормотал себе под нос. Максим шел вровень с ним квартала два и слышал:

— Я докажу!.. Я все равно докажу!..

Был он, вероятно, под хмельком, но к концу совместного пути, вникнув в бормотание, Максим понял, что дело-то, в общем, не в винных парах: человека обидели. где-то на собрании крепко покритиковали.

Максиму тогда было смешно. А нынче он и сам поймал себя на том, что разговаривает вслух, обходясь без собеседника.

Впрочем, были и собеседники. На другой день после собрания он разговаривал с Кабаковым. Кабаков, обняв его за плечи, провел мимо груды затухающих поковок в застекленную конторку мастера и там один на один спросил:

— Переживаешь?

Максим понурил голову и не ответил.

— Понимаю, обидно очень. Конечно, помешала тебе эта история с Голдобиным. Не Голдобин, а «история», подчеркиваю.

— Старик счеты сводит.

— Не думаю.

— Думай не думай, а факт!

Утешал и Сеня Чурилев. С ним Максим был откровеннее. И про Станиславу все выложил.

— Какая она, Сенька, знал бы ты! — вздыхал он поздно вечером, сидя на своей койке в общежитии.— И красавица, и умница, главное... не чета нашим!

— Ну, что красавица, сам видел! А умиая, потому что образоваиие.

— Не в образоваиии дело, да и учится еще! От рождеиья оиа такая. Поиимаешь?

— Поиимаю.— И, помолчав, сочувствеиио утешал: — Ничего, иаладится у тебя все, Максим. И то, и это.

Собеседииком был и Голдобии. С иим, иезримым, спорил Максим, когда бродил по вечериим пустыииым улицам и дома, без Сеиьки.

— Мудрым себя считаешь, Алексаидр Аидреич, а поиять ие можешь! — умииал ои кулаком воздух перед собой.— Не можешь! Я же хотел добра, хотел лучше сделать... А ты не поиял, и мие тебя ие переубедить. Такой уж характер у тебя, и воспитаиие, видать, такое. Тебе сказали, и ты делаешь, а подумать головой иекогда. Эх ты, мудрец!..

И дальше:

— Ведь я же прав. Провалилось дело-то, почии твой. Шумиули, а толку ии на грош! Теперь ты иа мие отыгрываешься. Вроде бы такие, как я, виноваты в твоей иеудаче. Да, иеудаче, хотя ты и Рогачев боитесь призиаться в этом!

И дальше, уже о самом больиом:

— Не прииялн меия... Нет, ты все-таки мудр, старый! Зиаешь: дай мие партийиый билет, я в сто крат сильиее буду. И вряд ли тогда бы... Так?

Голдобии ие отвечал.

Ои глядел иа Максима тяжелым, иепримиримым взглядом и молчал.

А Максиму хотелось, чтобы ои ответил. Очеиь хотелось, чтобы старик ответил.

Тогда ои взял да и позвоиил Голдобииу иа квартиру. Но ответил ие ои.

XVI

Максим и Зойка сидели в парке на скамейке. Мало кому пришло бы в голову сидеть вот так: в пустом, еще не открытом парке, ежиться от холода. А они сидели.

— Посмотри, как красиво! — говорила Зойка, показывая на горизонт, на поздний закат. И Максим соглашался:

— Красиво!

Недавно ему было совсем плохо. Даже, когда забредя в телефонную будку на площади и набрав знакомый номер, он услышал Зойкин голос. Он сразу узнал этот голос и первым движением его было бросить трубку. Потом Зойка сказала, что хочет с ним встретиться. В полутемном будочном стекле напротив он увидел отражение хмурой своей физиономии.

А теперь улыбался, слушая Зойку.

Некрасивого, она, казалось, просто не замечала. Не видела ни грязного после талой воды асфальта, ни замусоренных аллей, ни старого киоска, крест-накрест заколоченного досками — ничего. Не замечала даже холода...

Положив локоть на спину скамьи, Максим обнимал девушку за плечи, а в ладони согревал ее пальцы.

И вдруг она заплакала. Заплакала обиженно и беспомощно, Максим отпустил ее.

— Что с тобой?

— Ты... грубый! — проговорила Зойка. И повторила упрямо.— Ты грубый. Я не хочу, чтобы так со мной... У тебя были другие... И Станислава... Я знаю...

— Ну, Зоенька!..— протянул Максим и умолк, не зная, что сказать.

Они долго молчали. Уже стемнело и чуть заветрило. Заколотил голыми ветками тополь над головой. Почер-

нела проколотая зеленой звездой легкая дымка облака на горизонте.

— Ты не сердись, Максим!

— Я не сержусь.

— Не сердись. Ты же лучше всех, я знаю. Я вот недавно познакомилась с одним студентом — Димой. Из консерватории, скрипач. Он мне много рассказывал про голубые города, про все...

Максим усмехнулся.

— Не-ет... Он, правда, хороший, этот Дима. Но ты лучше.

Зеленая звезда на горизонте подмигивала Максиму, туманя глаза радостью. Но он сдерживал радость, пугаясь, что сменит ее тоска последних дней.

— Я почему-то очень тебе верю.

— А другие...— вырвалось у него.— Другие почему-то не верят!

— Кто?

Максим не ответил.

— Ну, почему ты не хочешь сказать? — Зойка схватила его за руку, просительно заглянула в лицо.— Скажи-н!..

Что он мог сказать ей, девочке?

— В другой раз, Зоя!

— Я же догадываюсь, Максим! Мой отец, партбюро... Так?

Он удивился ее словам, но промолчал.

— Ну, пожалуйста, Максим!..

— В другой раз! — с твердой решимостью сказал он.— Сегодня не нужно.

А кто-то совсем недавно говорил ему эти же слова...

— Пойдем, Зоя! — минуту спустя попросил он и, поднявшись, протянул девушке руки.

XVII

С утра у Голдобиил настроение было прекрасиое. Накануие иа торжествеиюм вечере во Дворце посадили его в президиуме за красиый стол, сидел ои там строгий и красивый, бритое, проглажеиное радостью лицо его было видио всему заводу. Все, казалось ему, обращали на него виимаиие. Когда в докладе директор упомииал его фамилию, Алексаидр Андреевич старался ие показывать виду, ио руки его, большие, длиииые, с пальцами, утолщеииыми и загрубевшими иа коицах, вздрагивали от волиеиия.

То было иакаиуие. А сегодия с утра получилось совсем уж здорово. Разбудил его звоикий марш из включеииого иа всю мощь радиоприемиика: постаралась Зойка... Оиа же и прииесла в спальию подарок — электробритву. Дорого виимаиие любимой дочери. Старшие дети внимаиием и подарками отца ие баловали... Не до подарков было.

Голдобин опять развеселился, упершись левым кулаком в подушку, ои правой рукой ласково обхватил девушку за плечи, притянул к себе:

— Спасибо!.. Чего расстаралась? Не рождение же у меня!.

— Рабочий праздиик, папа! — проговорила Зойка, вывертываясь из жестких рук старого кузиеца.— А ты у иас... зиаменитый рабочий!

Голдобии вспомиил и совсем растаял, загордился, забыв, что в подштаииииках, вылез из-под одеяла, пошел к этажерке, где лежала вручеиная ему иа торжестве грамота: решил похвастаться. Остаиовил его насмешливо-строгий голос Александры:

— Куда это, старый черт, в исподием собрался? Взрослой дочери-то постыдился бы!..

Голдобин застыл на полдороге, застеснялся, а потом бочком-бочком двинулся обратно к постели. Зойка, рассмеявшись, выбежала из спальни. Александра, празднично приодетая в бордовое, «молодое» платье, тоже было исчезла, но через минуту показалась снова, бережно неся на вытянутых руках новенькую, расшитую по рукавам и вороту просторную украинскую рубаху.

— Чего это вы сёдни? — скрывая радость, ворчал Голдобин. Он едва оправился от крепкого женниного поцелуя.— Как с ума посходили: подарки разные!..

— Да вот уж решили, вас не спросили! — кокетливо вскинула рыжеватенькие брови Александра.

Голдобин проворчал по привычке:

— Уж вы спросите!

— Зойка! — позвал он.— На демонстрацию собираешься?

Зойка откликнулась из прихожей:

— Собралась уже, папа. Ждут меня, извини!

— А ты, что, тоже на демонстрацию? С колонной? — удивилась Александра.— Бюллетенишь же!.. Да и сколько лет не ходил!

— Пойду! — упрямо сказал старик.

* * *

Часом позже, попив чаю с вареньем, шагал Александр Андреевич к своей колонне. Где-то уже близко гремел медью оркестр. Холодный ветер рвал в лоскутья звонкие марши и гнал их вместе с серебристыми обертками от эскимо по широким улицам. Город кипел звуками. Кое-где в квартирах успели спозаранку включить радиолы и приемники, и музыка из окон сплеталась с маршами на улицах.

Настроение у Голдобина было по-прежнему припод-

нятое. Ему нравилось идти по знакомым улицам, не узнаваемым сейчас. Они были расцвечены кумачом и улыбками людей, отрешившихся сегодня от всех забот, печалей, житейской суеты. Люди улыбались друг другу, солнце отражалось на их лицах, и все это делало улицы еще праздничнее.

Колонну свою он разыскал с трудом. Подошел к самым дверям «итээровского» общежития, где накануне был назначен сбор, увидел нарядную толпу с букетами искусственных белых роз, но никого из знакомых не разглядел. Тронулся было дальше, осторожно обходя шумные группки, но услышал рядом:

— С праздничком, Александр Андреевич! — Оглянулся: Калганова. Она стояла перед ним маленькая, как девочка: седая голова глухо повязана пестрым платком, а сухие губы растянуты в обрадованной улыбке.

Голдобина остро кольнуло воспоминание о последней встрече с Калгановой у «окна сатиры». Вспомнил и о невыполненном обещании: не поговорил с ее заблудшей дочкой.

— Тоже собралась на праздник, Елена? — скрывая смущение, нарочито весело спросил он и легонько взял женщину за локоть.— Пойдем-ка, поищем наших.

— Да уж так тошно одной дома, Андреич... На людях все же праздник.

— А Машка где? — рассеянно спросил Голдобин, продираясь через толпу.

— Уехала дочка.

— Куда?

Калганова не ответила. Он почувствовал неладное и, замедлив шаг, обернулся.

— Куда уехала-то, спрашиваю?

— Да... забыла, Андреич, как называется,— виновато, с запинкой сказала Калганова.— Качкинар...

— Качканар! Это хорошо!

Хотел расспросить, ио подошел Коробов н бесцеремоино огрел его по спине ладоиью-лопатой.

— Эх, калнна-малнна, денек-то какой! — с веселой хрипотцой выдохнул ои.— Поздравляю с маем, Аидренч, и тебя, Елена. Что это вы парой, а? Сма-атри, Андренч!..

Шнрокое лнцо Коробова, давнего прнятеля Голдобниа, темио пунцовело, вндно, успел с утра. Прижимая лапнщей галстук, Коробов крнчал:

— А я вот оди-ин! Может, пнвка выпьем, а?..

Калганова тнхо сказала:

— Пойду я...

Голдобии кнвнул. Но тут же остановил ее:

— Не скучай в празднк-то! Мы с Александрой дома, забегай после демонстрацнн!

Калганова отошла, растаяла в толпе, Голдобнн же, положнв ладоиь на плечо Коробова, предложнл:

— Понщем сперва наших...

— А кого ж искать, Андренч? Все здесь. Вот она, наша колонна!..

Голдобин и не заметил, что добрался уже до своих. Мало-помалу стал узнавать знакомых. Увндел Кабакова, скромно стоявшего за кругом танцующнх парней и девчат, в представительном мужчнне — в габардиновом пальто и зелеиой шляпе с ленточкой — узнал секретаря партбюро Рогачева; издалн помахал ему рукой главиый техиолог завода Игорь Фокнч Скорняков. Еще Голдобнн узиал двонх-тронх и не мог не отметнть про себя, что за те годы, пока ои не ходнл на демонстрацню в своей колонне — обычио ему давали пропуск на трнбуну, миогое измеиилось. Миого новых людей прншло на завод — молодежи больше. Ее-то, оказывается, плохо знал «кадровый» Александр Аидренч.

И тут он увидел Зойку. Она стояла с Крыжовым, сцепив пальцы обеих рук на его локте и подняв курносое лицо, что-то лепетала, жмурясь на солнце.

«Вон как! — ахнул Голдобин и сразу забыл о Коробове, стоявшем уже в очереди к столику с пивом и пирожками.— Это как же они?..»

А «они» и не видели старика. Рожица у Зойки так и сияла счастьем. Голдобин не мог и припомнить, когда он еще видел ее такой.

— Андреич!.. Голдобин!..— крикнул от столика Коробов и потряс над головой бутылкой.— Поспевай сюда!..

Голдобин повернулся и туча тучей двинулся к столику.

— Дочку встретил, Андреич? — щуря красные глаза, хитро поинтересовался Коробов.— А Крыжов-то жених ей? Нич-чего парень!..

Не отвечая, Голдобин налил себе в картонную посудинку, выпил залпом и, не протерев взмокшие усы, плеснул вторую.

— Пить захотелось! — шумно передохнув, оправдался он.— А пить мне нельзя — мотор барахлит...— и постукал кулаком по груди, там, где сердце.

— Ну, и не надо тогда! — согласился Коробов.— Давай-ка, пошли наши-то!..

А сердце и впрямь болело... Догнал Голдобин свою колонну, а идти в ногу с молодыми трудно. Силился, крепился, вида не показывал, но, в конце концов, сдался. Едва повернула колонна к круглой заводской площади, уставленной мачтами с трепетным кумачом наверху, не выдержал Александр Андреевич: откачнулся от строя... Мерно подышал через нос, успокаиваясь, горько сплюнул в начищенную ради праздника урну и потихоньку побрел домой.

К вечеру Голдобину стало лучше. Днем он лежал, а к вечеру поднялся: праздничную рюмочку принять, если жена позволит...

В большой комнате за столом, крытым крахмальной скатертью, в дальнем конце сидела Елена Калганова, а напротив нее Александра. Перед ними на блюде аппетитно распластался пирог со снятой верхней коркой; белые рыбьи куски переложены фиолетовыми кружочками лука. Стоял и графинчик с водкой. Женщины уже выпили по махонькой и, раскрасневшись, разговаривали.

— Пируете, старые? — посмеялся Голдобин, усаживаясь и наливая себе стопку.

— Что нам, малярам! — неловко отшутилась Калганова.— Мужики пьют, а нам, что, глядеть?

Голдобину было приятно видеть ее повеселевшей.

— Еще раз с праздничком! — чокнулся он с женщинами и со вкусом выпил, бросив в рот фиолетовый кружочек.

— Ты бы не пил, отец. Болеешь ведь...

Голдобин будто не слышал.

— Так чего пишет Маша-то?

— Одно письмецо пока получила. Достается, видать, там...

— Ничего-о, молодая! — утешил Голдобин.— Поначалу всем трудно. Пусть самостоятельно ходит, учится! — и, помолчав, подумав, сообщил жене:

— А сегодня, Шура, я Зойку встретил на демонстрации. И, знаешь, с кем?

Та не сдержала улыбку:

— С кем же?

— С Крыжовым. С тем самым, из-за которого ты меня тут...

Александра не удивилась.

— Ну что ж, хороший парень Максим.

Голдобин кивнул и нахмурился.

И когда час спустя после ухода Калгановой появилась Зойка с Максимом, старик уже не удивился. На лице у Максима было написано: «Пришел я... ну и что?»

Поздоровались мирно.

— А мы на пруду были, на лодке катались,— объяснила Зойка, усаживая Максима за стол,— и страшно есть захотели!.. Максим, ты не стесняйся, накладывай, накладывай себе!

Максим, очевидно, все-таки стеснялся; неловко двинул рукой и рассыпал соль. Александра сказала:

— К ссоре! — и подозрительно глянула на мужа.

Зойка сказала:

— Предрассудки, мама! — и почему-то притихла.

Максим не отошел даже после водки, сидел и молчал. Молчал и Голдобин, но не уходил из-за стола. Не пил, не ел, а сидел, чего-то выжидая. Когда Максим покончил с пирогом и вытянул из кармана платок, старик пододвинул ему стопку бумажных салфеток. Спросил, наконец, незначащее:

— Ну как поживаешь, Крыжов?

Максим ответил, натянуто улыбаясь:

— Нормально. Новостей особых нет... А те, что есть, тебе известны, Александр Андреевич.

И скривил губы. Голдобин понял. Все эти минуты он сидел, глядел на парня и думал. Мысли его располагались примерно в таком порядке: «Совсем чужой человек. Пацан... А покоя из-за него нет. Въехал в его, голдобинскую жизнь, как паровоз... В цехе из-за него портишь нервы. Дома тоже неприятности. Зойка тому виной? Нет, не похоже. Никто он ей пока, да и будет ли...»

— Так, так!..— проговорил вслух. А когда жена и Зойка вышли из комнаты, спросил напрямик:

— Ты, что, все в обиде на меня?

— А как ты думаешь, Александр Андреевич?
— Думаю, что обижаться нечего. Я прав был.
— Не во всем.
— В чем не прав?
— С самого начала. Я же говорил тогда, на партбюро.
— Помню, что-то там о формализме. И до сих пор не признал ошибку?
— Не признал.
— Вон как ты!..— сожалеючи покачал головой Голдобин.— Тебе говорят, а ты все на свой лад. Гордый! — И отрубил убежденно: — Значит, правильно тебя наказали!

Заметил, что Максим с силой вдавил локти в скатерть, даже стол скрипнул. Помолчав, спросил как можно спокойнее:
— Ну в чем все-таки я не прав, по-твоему?

Максим, глянув исподлобья, не сразу разомкнул крепко сжатые зубы.
— Сначала скажу, в чем не прав я... Горячиться не следовало мне, раз! Из бригады бежать не следовало, два! В-третьих, нужно было настоять, чтобы спор наш с тобой вынесли на собрание... Люди поняли бы!
— Уверен?
— Да!.. Ну, а теперь, в чем ты не прав, Александр Андреевич! С тем самым твоим «почином» партком поступил все же формально. Если уж инициатива снизу, так пусть она будет снизу. Поговори сначала с рабочими. Люди не дураки, поймут, надо — сделают! К чему эти команды!
— Оратор ты... Не любишь команды?
— А кто их любит! Ну, ладно, если еще команда дельная...
— А тут?

— Какая же дельная, если провалился почин. Пошумели, пошумели, а теперь и не вспоминают.

— Две тысячи экономии по цеху — шум? Эх, Крыжов, Крыжов!..

Не сдавался старик, хотя давно уже сам себе признавался, что напортачил: «Поспешишь — людей насмешишь!..» И болезнь у него за последнее время тоже небось взыграла от переживаний этих... И люди теперь, казалось ему, поглядывают на него косо. Недаром радовался, что помянули вчера на собрании добрым словом... Могли и не помянуть... А Крыжов, похоже, утешает...

— А все можно было сделать по-человечески, Александр Андреевич!.. Норму повысить — не самоцель. Верно ведь?

— Не понял.

— Ну что такое взять и повысить норму? Вынуть из кармана рубль и отдать его государству. И что из этого? Попроси государство, и так дадут, никто не откажет. Только государству не рубль этот нужен, оно не бедное. Производительность нужна, вот что! В этом цель! Значит, прежде чем шум подымать и за рублем в карман лезть, нужно было подготовить почин этот. Резерв посмотреть, точный план составить, а не так с бухты-барахты!..

— Составляли же план! — хмуро оправдался Голдобин, а в памяти в это мгновение — разговор в парткоме, с Рублевым, с Климовым...

— Бумажный план!.. Да еще и не в этом дело, Александр Андреевич. Начинать надо было не с нас, а с механических цехов. Я разговаривал с ребятами оттуда. Кое-кто мог бы на пятьдесят — не на десять, а на пятьдесят! — процентов норму свою повысить. Однако не повысили, приберегли! Там надо было начинать, Александр Андреевич. И тоже по-человечески, с разговором...

— Ну, а вот решили с нас начинать, с меня! — выпрямляясь на стуле, ухмыльнулся Голдобин.
— Почему же?
— Потому что новатор я. Всегда новатором был!..— внушительно объяснил Голдобин.
Александра, перетиравшая тарелки на свободном конце стола и слышавшая последние слова, заметила насмешливо:
— Хвасту-ун!..
Зойка, помогавшая ей, весело хихикнула, а Голдобин вдруг понял, что сказал сейчас глупость. И выдал себя. С ног до головы выдал. Он даже побагровел, и сердце заколотилось, как утром, на демонстрации. Только утром настроение было хорошее, а сейчас совсем не то...
— Зойка, включи-ка телевизор,— попросил он,— праздничный концерт посмотрим.

XVIII

Максима вызвал к себе начальник цеха Климов.
— Пойдешь, Крыжов, в свою старую бригаду.
— К Голдобину?
— Вместо Голдобина. Заболел Александр Андреевич.
Максим, размазав пот на лбу, усмехнулся:
— Получше не нашли кого?
Климов поглядел тяжело:
— Не балуй, Крыжов!..
— Я и не балую, Иван Васильевич! Просто мне удивительно: то вы мне не доверяете, то вот, пожалуйста!..
Климов грузно откинулся на спинку стула:
— На партбюро намекаешь? По-моему, о том договорились! А завтра утром приходи и принимай бригаду.

В тот же день, встретив Зойку, Максим спросил:
— Как отец?
— С каких пор отец тебя интересовать стал?
— Да вот, вместо него работать предлагают... Временно, конечно.
— Иди! По-моему, и он хотел этого...
— Гнев на милость?
— Не знаю.
Они разговаривали в крохотном сквере у трамвайной остановки «Заводоуправление». Сквер обычно пустовал, ожидающие трамвая толпились на узкой бетонной полосе напротив и не могли никого и ничего видеть из-за кустистой зелени.
— Погуляем?
— Да не знаю...
— Собрался куда-нибудь!
— Нет, а ты?
— Я к подружке. Хочешь вместе? Да пойде-ем!..
Максим молчал, раздумывая...
Накануне он получил письмо из Владивостока. Станислава писала:
«Максим, здравствуйте! Вряд ли Вы ждали письмо от меня. Но пишу его только для того, чтобы по-доброму закончить наши отношения. Вы слишком тепло и искренне ко мне отнеслись, поэтому я чувствую необходимость объяснить и свое поведение, и свое отношение к вам.
Вы сделали мне предложение тогда, когда на смену потрясению и горю первого времени после разрыва с мужем и смерти мамы там, в Вашем городе, пришло успокоение и одиночество. То одиночество, в котором бываешь особенно недоверчив и чувствителен к любому сочувствию.
Что я Вам нравлюсь, я поняла сразу. Поняла, что Вы искренне хотели помочь мне... Но я всегда любила одного человека, своего мужа. Ваше человеческое сочувствие и

Ваша доброта, и влюбленность, которые вылились в этом: «Я вас люблю. И выходите за меня замуж»,— покорили. Я ведь понимала, что только действительно любя человека, можно вот так, не оглядываясь на ребенка и мои прежние отношения, да и разные там слухи, сказать такие слова.

И все это было так по-мужски сильно и по-человечески добро, что не хотелось отказываться, жаль было терять Вас, сильного и доброго в моем-то одиночестве и затерянности, хотя я и знала, что люблю другого. Но с тем человеком, казалось мне, навсегда было порвано... Почему? Это длинная и только мне и мужу понятная история...

Виновата была я. Я и ушла, хотя любила.

Теперь мы снова вместе, и я поняла главное: жить надо по большому счету, не размениваясь...»

— Пойде-ем! — снова попросила Зойка.

— Пойдем! — согласился Максим.

Так Максим попал к Арсентьевым.

В маленькой квартирке на третьем этаже ему понравилось. Белизна и уют, книги на широких полках в комнатах и коридоре напомнили детство. Правда, в семье учителя Крыжова не было такой красивой и легкой мебели, но тогда ее вообще не было.

Максим познакомился с Лариком, и он, рослый, чубатый, простецкий в обращении, тоже понравился. Разглядев в углу комнаты тяжелые гантели, Максим вытащил их, взвесил на руке и сказал одобрительно:

— Ничего!

Ларик спросил с мягкой усмешкой;

— В бригаду возьмешь?

Максим ответил:

— Могу.

И подумал: да, сейчас он вправе взять в бригаду кого захочет...

Познакомился он и с Ниной Степановной. Она вошла в комнату быстрой, мягкой походкой — маленькая, полная и в очках. Протянула Максиму прохладную после умывания ладонь.

— Это Максим, Нина Степановна! — запоздало вмешалась Зойка.— Я вам говорила о нем.

— Очень приятно, Максим, что зашли.

Нина Степановна сняла очки, и Максим хорошо разглядел ее светлые, с отливом лесной голубики глаза. Они тепло улыбались.

— Значит, вы Максим и есть! — повторила, пристально вглядываясь в его лицо: — очень приятно, что зашли... А фамилия ваша как?

— Крыжов, Максим Крыжов.

— Вы никогда не жили в Черемшанке?

— Я? Воспитывался там в детдоме. А еще раньше...

— Вы сын Сергея Сергеевича?

— Вы знаете отца?

Нина Степановна тихо и нервно рассмеялась. Увлажнились глаза ее. Она быстро-быстро заговорила, приблизив свое близорукое лицо к лицу Максима, неверяще касаясь пальцами его пиджака:

— А как же, а как же, милый Максим!.. Я знаю не только Сергея Сергеевича, но и вашу маму, да и вас, мой дорогой, помню. Ваши родители были моими очень близкими, очень-очень хорошими друзьями.

У Максима пьяно, как после горячей смены, закружилась голова. Он стоял, опустив тяжелые руки, перед маленькой женщиной, и ему уже казалось, что он тоже узнает ее.

— Мне бы хотелось поговорить, Нина Степановна...

— Обязательно, Максим. Я вот управлюсь, и мы с вами поговорим. Обязательно. Извините меня!..

Максим допоздна засиделся у Арсентьевых.

Слушал Нниу Степаиовиу. Прихлебывая из тонкого стакаиа чай, она рассказывала об отце:

— При ием детскнй дом стал, как говорили тогда, образцовым. А все потому, что Сергей Сергеевич любил и поимал детей. Чаще ои был добр с иими, а это очеиь важио. Там иужиа была именно доброта — не наиграииая, ие сделанная, а большая, от большого сердца. У вашего отца, Максим, было такое сердце — большое и доброе. Он умел...

— Зато с ним... не по-доброму!

Максим глухо ударил твердой ладонью по столу, как муху прихлопиул. Нина Степановна грустно кивиула:

— Не с иим одним, дорогой Максим... И во всем, что нес в себе Сергей Сергеевич, оказался прав ои, имеино ои, а ие те, кто в свое время плохо поступил с иим.

От Ниины Степаиовииы Максим многое услышал сегодня — и об отце, и о маме, и о ней самой... Правда, к его представлеиию о родителях — в детдоме помнили обоих и часто рассказывали мальчику — прибавилось ие так уж много. Но Нииа Степановна была их близким другом, и сейчас сумела сделать так, что ои смог остро и полно, родствеино почувствовать отца и мать. И даже то, что сама Нина Степановна была их другом, а значит, и тоже родствеиной душой, помогло ему лучше поиять тех, кого давио уже нет в живых.

— Я тоже за доброту... ио и за справедливость! — Максим встал и прошелся по комнате, сунув кулаки в карманы брюк. Ои чувствовал, что мог быть откровеииым сейчас с этой женщиной, пришедшей из детства, его детства, и даже присутствие Зойки, с которой ои еще ии разу ие говорил серьезно, не мешало ему.

— Говорите, говорите, Максим! — подбодрила его Ниил Степаиовна. Оиа отодвииула иа середиину скатерти стакан и блюдце, неумело вытянула из пачки папиросу,

вторую за весь вечер, и зажгла. В неровном свете спички прорезались на ее лице тонкие морщины, прежде скрытые уютным полумраком комнаты.— Слушаем вас!..

Максим начал рассказывать о пережитом за последнее время. Он не жаловался (это было бы ни к чему здесь, да и недостойно), не искал себе оправдания (хотя вины за собой не чувствовал по-прежнему), не высказывал злого своего отношения к старику Голдобину (щадил Зойку; понимая и зная многое, она сидела за столом с напряженным лицом, и в широко раскрытых глазах ее пряталось тревожное ожидание). Он просто искал причины происшедшего с ним.

— Почему мне не поверили? — спрашивал он, весь подавшись вперед, почти касаясь вспотевшим подбородком белой скатерти.— Почему, Нина Степановна? Не понимаю я. Никак не понимаю! Все же были свои. С ними вместе мы работаем в цехе, знаем друг про дружку все-все, будто в одной деревне выросли. И вот дали же по морде... За что?

— Успокойтесь, Максим! — Нина Степановна, протянув через стол руку, коснулась теплыми пальцами его руки, тут же легко поднялась и, сделав несколько шагов по комнате, прислонилась спиной к стене.

— Ну, не нужно отчаиваться, милый мой. То же, кстати, сказала бы вам и мама ваша — я-то уж знаю ее. Как я поняла из вашего рассказа, никакого страшного недоверия к вам нет. Просто люди подошли к вам строже, чем, может быть, стоило... Это, во-первых. А во-вторых, они же, эти самые люди, и идут вам навстречу. Вот бригадиром вас выдвинули. Думаете, это просто так? Н-нет! Вы же были правы, Максим, как я поняла. Да-да, правы! В нашей жизни, вы знаете, есть еще немало этих... атавистических, остаточных явлений... Последствий культа, как мы говорим. Они глубоко спрятаны, они в характере

людей, которые в общем-то даже и не повинны в этом. Нужно время и нужны большие усилия, чтобы изменить эти характеры... И я говорю не только о стариках. Как ни парадоксально, но даже на молодежи, самой зеленой, не хватившей этого самого культа, сказываются его последствия. Еще не зная, что это такое, они пытаются не только защититься от культа, но и сбрасывают со счета все, что связано с тем временем. Отбрасывают и все доброе, здоровое... Вы меня понимаете? Тогда зачем же так безжалостно судите Александра Андреевича и других? И в нем немало хорошего! Правда, Зоя? Просто нужно разобраться... А главное, необходимо быть борцом. Да, борцом! Вот этого, если уж говорить откровенно, вам и не хватило, дорогой Максим. Учтите это на будущее, жизнь у вас впереди. А сейчас не обижайтесь и не отчаивайтесь. Люди, повторяю, верят вам. Да вот и Зоя мне как-то рассказывала, что мама ее очень за вас переживает, горой стоит. Так, Зоя? Да и что греха таить, сама-то Зоя тоже не оставила вас в трудную минуту, прибежала к вам...

Нина Степановна прошла к столу и, улыбаясь чему-то своему, стала неслышно убирать посуду.

— Пойдем, Максим,— позвала Зойка, голос ее чуточку дрожал, был не таким, как всегда.— Спасибо вам, Нина Степановна. Утомили мы вас сегодня, простите. Ну, идем, Максим.

— Что же, пора так пора! — согласилась хозяйка.— Задерживать вас не буду, ребятишки. Вставать мне рано. Привет, Зоя, Александру Андреевичу!

XIX

Был уже второй час ночи, когда они возле театра «Авангард» поймали такси. Пока ехали до дому, молчали.

Говорил шофер. На шоссе их обогнала другая машина, тоже из таксомоторного парка, и шофер всю дорогу не мог успокоиться.

— Не бережет, подлец, технику!— возмущался он и то и дело оборачивался, ища сочувствия у Максима: в нем он почему-то сразу признал своего брата-работягу.— Угробит машину, наплачется.

Шофер был молодцом. Была у него здоровенная кудлатая голова, и, очевидно, в этой кудлатой голове нередко бродили трезвые, важные мысли.

Максим поддакивал, но думал о другом. Все у него смешалось сейчас, и не было в голове той завидной ясности, что у шофера.

Глаза слепило фарами встречных машин. Ничего не было видно, и лишь по отдельным, давно знакомым «ориентирам» — ярко освещенной проходной химзавода, по мелькающим трамвайным остановкам, наконец, по гаревому запаху своего завода, территория которого растянулась не на один километр,— угадывал, где они находятся.

Остановились у громадного дома, где жили Голдобины.

Дом спал. Тускло светились над подъездом зашнурованные в проволоку лампочки. Зойка взглянула по привычке на свои окна и ахнула:

— Ой, мамочка! Свет горит, не спят, ждут!

— Подожди! — решительно задержал ее Максим. — Хочу сказать начистоту!

— Что?

— Долго мы теперь не увидимся, Зоя...

В эту минуту кирпичная стена дома вспыхнула светом. Подкатил светлый «зил» с тремя очень яркими фарами — «Скорая помощь».

Хлопнула дверца, и из машины выбрался длинный человек в плаще. Спросил громко:

— Влюблениые! Вы ие из этого дома? Не подскажете, где сорок шестая квартира?

— К иам! — испугаино прошептала Зойка.— С папой!.. Закричала врачу:

— Пойдемте, пойдемте скорей!

В квартиру Максим вошел вместе со всеми. В дверях встретила Алексаидра Тимофеевиа, иеприбранная — тяжелый узел мягких волос рассыпался по вороту незастегиутой кофты. Глаза ее запали и были мужественно суровы.

— Отец у нас...— глухо иачала оиа и не договорила.

— Сейчас посмотрим! — коротко бросил врач.

Максим прошел в комиату и оттуда через приоткрытую дверь спальни увидел иеподвижио лежащего иа кровати Голдобииа. Ои был очеиь бледеи, белее подушки, и иевидимые обычио оспиики иа худом узком лице потемиели.

К иему подошел врач, уже в халате, и, взяв пульс, сделал зиак фельдшеру. Тот поспешио открыл саквояж с медикамеитами.

Из спальии выскользнула Зойка. Чужими глазами посмотрела на Максима, сказала тихо:

— Кровотечеиие... Очеиь плохо.

— Может, иужио что? В аптеку или куда...

— Нет пока.

Зойка положила ладошку иа лоб, точио припомииая что-то. Послышался тихий стои, и оиа опять скрылась в спальие.

Не зная куда деть себя, Максим бродил по квартире. Забрел на кухню. Здесь повсюду были следы тревожной спешки. Дверцы посудного шкафа распахиуты; с полки его уставилась иа Максима размалеваииая кукла в сарафаие — «покрывашка» для завариика. На полу валялась чайиая ложка. Кто-то не довериул краи, и вода тонкой

струйкой стекала в белую раковину. Максим прикрыл шкаф, поднял ложку н завернул кран...

Стекла в кухонном окне были зеркально черны. Максим прижался лбом к прохладной твердой гладн н увидел пустынный двор внизу с длинным рядом сараев и гаражей из лнстового железа. Пустынность, ночное безмолвие, непостижимая тайность того, что совершается сейчас в одной из комнат этой большой квартиры — тайность противоборства жизни и смертн — тяжело давили на сознание.

Весь сегодняшний вечер было у Макснма ощущение чего-то значнтельного, ломающего его жизнь. Он не мог бы точно определить, что нменно. Касалось ли это его неожиданных и необязательных отношений с Зойкой и конченных навсегда (больно при воспоминании об этом) со Станиславой... Касалось ли это Голдобина н всего, что связано с ним...

— Покурим, молодой человек?

Макснм обернулся н увидел фельдшера. Был он уже немолод, этот грузный человек в белом, с редкой седой щетиной на мягком подбородке, крупным носом и красноватыми от недосыпання глазами. Присев на табуретку, он отогнул полу халата и вытянул из брючного кармана пачку папирос-гвозднков.

— Не куришь, выходит? Ну, хорошо, дольше проживешь!..

— Как там? — кивнул Максим в сторону спальни.

Фельдшер, сделав первую затяжку, глухо закашлял, а отдышавшись, сказал неопределенно:

— Бога нет. Указать некому... Кто больной-то?

— Рабочий. В кузнечном работает...

— Понятно тогда. Профессиональное заболевание у него: варикозное расширение вен, тромбофлебит подзапущенный...

— Да, профессиональное... Профессионал он. Мастер... Будь здоров, какой мастер! Таких только поискать!

Максим запнулся было, изумленный поворотом собственного мнения о Голдобине, но, испытывая непонятное наслаждение, продолжал хвалить старика. Торопливо, точно боясь, что незнакомый человек перебьет его, говорил о Голдобине, об уважении, с которым на заводе все без исключения относятся к нему, о его работе, о жене, замечательном человеке, какого тоже «только поискать». Он много говорил. Фельдшер докурил уже свой «гвоздик», аккуратно примяв окурок толстым пальцем, а Максим все говорил. На секунду замолчал, и тот поднялся, поправляя широкий халат.

— Да-а! — протянул. — Хороший, видать, человек. Дай бог, чтобы обошлось все!

Оставшись один, Максим снова прижался горячим лбом к прохладному стеклу, уже поголубевшему от занимающейся зорьки.

* * *

Ушел он часа через два, когда все в доме успокоилось; врач уехал, пообещав днем прислать другого — специалиста, а Голдобин после нескольких уколов уснул.

На лестничную площадку выскочила за Максимом Зойка. Прощаясь, устало прижалась щекой к Максимовой груди. Он, как маленькую, погладил ее по пушистым завиткам на шее. Сказал, думая о своем.

— Все будет хорошо, Зоя!

Вышел на улицу, вызолоченную солнцем. Вдохнул свежести, даже голова закружилась, и зашагал, невольно стараясь не стучать ботинками по гулкому асфальту: казалось, что он все еще в квартире больного.

Прошел квартал, и голова уже не кружилась, ясно думалось, как будто и не было бессонной ночи. Стук каблуков его теперь доносился, наверное, до спящих пятых этажей.

«А поеду я в Черемшанку! — легко подумалось вдруг. Просто так, на денек-два. Может, встречу кого, кто отца знал, да и вообще...» Вот дождусь Голдобина, выйдет он, сдам бригаду и поеду!

Последние слова он сказал вслух. Но и сам не услышал их. Заревел гудок. Оглушил. Завод подымал смену.

Не дойдя до общежития, Максим свернул к проходной.

XX

Голдобин болел долго. Отцвела белая черемуха в заводском парке, куда Максим выбирался в редкие теперь свободные часы (чаще один, иногда с Зойкой), и снова, как всегда после цветения, потеплело, а Голдобина все не было, и Максим продолжал работать в его бригаде.

Поначалу чудно́ было: к людям, которых хорошо уже знал, с которыми работал год, приходить чужим, «начальством». Через день-два это ощущение прошло. Снова стали своими и неразговорчивый старательный Ветлугин и ветрогон Красавчик, с вида и по возрасту совсем пацан, а о Сеньке Чурилёве и говорить уже нечего.

— Наши рады, Максим, что тебя поставили! — сообщил тот однажды доверительно по дороге домой.

Максим в добром порыве обнял его на ходу за плечи, встряхнул.

— Надоел старик всем до смерти! Понимаешь? — продолжал Сенька откровенничать.

Максим не поддержал его, промолчал. Сейчас он далек был от настроения той ночи в доме Голдобина,

старик уже не казался ему таким распрекрасным, но и плохо, как раньше, о нем не думалось.

Сенька уловил холодок. Вынырнув из-под руки Максима, спросил с ехидным участием:

— Ты, случаем, не в зятья к нему готовишься?

— Н-нет! — рассмеялся Максим.— Не в том дело.

— А в чем?

— Да как тебе сказать, Семен...— И неожиданно свел на шутку.— Просто поработал на его месте, помаялся и решил, что с вашим братом нельзя иначе!..

— Ах, уже с нашим братом!

—Ну, хватит, хватит!..

За год, живя вместе, они ни разу не поссорились. Старшинство Максима Сенька признал с первого дня, так и установились отношения: внешне «на равных», а на самом деле Максим для Чурилева — непререкаемый авторитет.

— Может быть, ты женишься? — вернулся Максим к прежней теме.— Что-то письма тебе часто пишут! Маша?

Сенька отмахнулся:

— Нужна она мне такая!..

Серьезно, скорее строго, Максим возразил:

— Какая такая? В том деле еще разобраться нужно. Мало ли что наши юмористы понапишут и понарисуют. Девчонка же еще! Нетрудно голову заморочить! Может, и не так все было... Не так?

Сенька не ответил, но оттопыренные уши его порозовели. А Максим в эту минуту подумал о Зойке. Вот ей-то он, кажется, голову и заморочил! А зачем? Сеньку-то вот учит, а сам? И вздохнул тяжело: «Что-то нужно делать!».

* * *

Голдобин вышел на работу в конце мая. Придирчиво осмотрел все, «двухтонку» чуть ли не ощупал. Часа полтора изучал выработку за каждый день и, похоже, остался доволен. При Климове пожал Максиму руку:

— Спасибо, Крыжов. Марку ты мою не уронил!

Максим в тон ему, дружески, ответил:

— Ваша школа, Александр Андреевич!

— То-то же! — принимая его слова за чистую монету, поддакнул Голдобин.

Максим вопросительно поглядел на озабоченного Климова:

— А мне куда теперь?

— Не знаю, что с тобой и делать! Возвращайся пока на старое место, к Кабакову, а там что-нибудь придумаем.

Максим молча пожал плечами. Рядом сопел Голдобин. Максим проглотил вставший в горле комок и проговорил хрипло:

— В таком случае дайте отпуск на три дня. Впрочем, мне положен отгул за этот месяц.

Климов, ероша седые волосы на затылке, поглядел-поглядел на Максима — думал он о чем-то своем — и сказал, наконец:

— Ну, если положено, то гуляй.

XXI

В Черемшанку Максим выехал рано утром. Часа через два сошел с электрички на узловой станции, в ожидании походил по чистенькому перрону, почитал газеты, присев на чугунную скамейку в конце перрона, и вскоре уже ехал дальше.

Вагон рабочего поезда, в котором ему предстояло добираться теперь уж до самой Черемшанки, был старый, довоенного образца, с вытертыми добела скамейками и откидными столиками. И было в нем душно. Максим тряхнул обеими руками раму, но пыль, забившаяся в проем за десятилетия, так и не дала открыть окно.

Он перешел в соседнее купе. Там окно было открыто, и теплый ветер задувал с гор. Напротив сидел парень, Максим кивнул ему и — к окну.

Поезд не спеша переваливал горы, вблизи по-весеннему умытые свежестью, ярко-зеленые, а подальше — темные, на горизонте же совсем черные глыбились вершины. Вдоль полотна, внизу, вклеилась в мягкую траву желтая тропинка и вьется-вьется нескончаемо от столба к столбу...

Максим ехал в страну своего детства, и приятное чувство освобождения от всего будничного, владевшего им сегодня с утра, с момента отъезда из дому, сменялось сейчас легкой грустью и нетерпеливым желанием скорее приехать. Он стоял у окна, навалясь локтями на раму, и ни о чем другом, кроме предстоящей вот-вот встречи с полузабытыми местами, кажется, и думать не мог.

Лишить бы нас печального
 пристрастья
Вновь посещать знакомые
 места...

Это вполголоса, насмешливо процитировал за спиной сосед. Максим обернулся, ожидая, что он еще скажет. Теперь Максим разглядел его.

По возрасту тот был и парень и не парень. Худой, белобрысый, борода то ли сбрита, то ли еще не выросла. Улыбался без хитрости, выказывая белые зубы. Лицо

чистое, но по углам рта матерые складки. Худ был так, что ковбойка в красных клетках спадала с плеч, как парус в безветрие.

— Угадал? — довольно рассмеялся он, откидываясь спиной на переборку.

«Иди ты!..» — подумал Максим: неприятно, когда за тобой подглядывают. Но, взглянув на открытое лицо парня, передумал и подтвердил:

— Угадал!

— Ну, раз угадал, давай знакомиться! — и парень протянул Максиму длинную руку.— Маркин... Виктор.

Максим назвал свою фамилию, и Виктор, припоминая, покачал головой:

— Нет, не слышал таких. Гамаюн?

— Да не совсем...

«Гамаюнами», помнил Максим, называли в Черемшанке местных жителей, аборигенов, кержаков. А какой же он кержак?

— Родился я в Черемшанке,— объяснил он.— А отец с матерью мои незадолго до того приехали сюда. Да и... уехали скоро!

— Ну это неважно, что отец с матерью. Главное, что ты здесь родился. Я это угадал.

И Виктор в шутливой радости, прихлопнув, погладил ладонью ладонь.

— Я же цыган, ты знаешь! — продолжал он.— Бабушка у меня была цыганка, а я в нее. Очень достоверно гадала!

«Трепа-ач!..» — поморщился Максим. Какой там цыган! Русак и русак, и бледные уши торчат из-под коротко стриженных белых волос.

— А если серьезно,— сказал Маркин, перестав смеяться,— то мне очень хорошо понятно твое состояние. Ты родился здесь и много лет не приезжал. Да? Я пони-

маю. Я вот только четыре года не был дома. Это в Костино, под Москвой. А поехал в прошлом году, подъезжаю,— не поверишь! — заплакал.

Такой внезапный переход от балагурства к откровенности удивил Максима и не мог не тронуть. «Славный парень!» — подумал он.

Маркин спросил:

— А у тебя кто здесь остался? К кому едешь?

Максим пожал плечами:

— Да никого. Так еду, посмотреть...

Максим вздохнул:

— До цивилизации нам тут, конечно, далековато еще... Это тебе не Москва и не Свердловск. Народ такой, знаешь... Гамаюны, одним словом! Не очень-то легко с ними...

Хотя Маркин и вздохнул и вроде бы жаловаться начал, Максим сейчас не поверил в его полную искренность. Казалось, говорит это он просто так «для порядка», а сам доволен и Черемшанкой и своей жизнью в ней. Иначе зачем бы он торчал тут пятый год, не уезжая в милое своему сердцу Костино, а то и в самую Москву!

Поезд в это время шумно замедлил ход, остановился. Маркин глянул в окно, увидел кого-то, вскочил и, высунув голову, закричал, замахал руками.

Через минуту в купе вошел чернявый парень в гимнастерке и сапогах. Бросив под скамью лопату,— она со звоном улеглась возле Максимовых ног,— он встряхнул протянутую Максимом руку.

— Картошку вот сажал. С опозданием, правда...— объяснил он, садясь и закуривая. Пальцы его вздрагивали.

— Тебе во вторую? — спросил Маркин.

— Во вторую. Галка в первую пошла.

Маркин заметил с улыбкой, обращаясь к Максиму.

— Передовая семья, скажу тебе! Оба фрезеровщики и оба — молодцом! Лучше в цехе никто не работает.

— Да будет вам, Виктор Васильевич! — устало перебил парень. — Хватит того, что вы в последний раз корреспонденту наговорили.

И он пытливо взглянул на Максима: «Часом, не корреспондент ли ты?»

А Максиму сразу вспомнились Голдобины, тоже «передовая семья...» И он внимательнее посмотрел на парня. Роста не богатырского и в плечах не косая сажень, но работяга в нем чувствуется... А на Голдобина не похож!

— Во вторую идешь, — говорил в это время Маркин, — а нам еще с тобой третья смена предстоит. Не устанешь?

Парень мотнул головой:

— Ничего. На пусковой пойдем?

— На пусковой. Там сейчас глаз да глаз нужен!..

Они говорили о своем, а Максим думал о своем. Маркин, судя по этому разговору, начальство в цехе, а может быть, не только в цехе... С проверкой какой-то собирается. С какой, куда? Максим невольно заинтересовался, но спрашивать было неудобно. А говорили те уже о другом, о завтрашней рыбалке на Черемшанке... (Вспомнил Максим эту речушку, торопливый бег ее по белым камням, свежесть ключевую...)

— Хороша у нас рыбалка! — обернулся к Максиму Маркин. Парень поддержал:

— В прошлый раз мы с Виктором Васильевичем по полпуда, наверное, привезли — окунишки там, хариусы. А чуть раньше — всем цехом выезжали — совсем богато вышло!..

Поезд снова замедлил ход. Маркин и парень встали. Виктор сказал Максиму:

— Вот и Черемшанка наша. Пошли!

XXII

Черемшанка давно уже перестала быть просто Черемшанкой. Был теперь маленький город — Черемшанск.

От демидовских времен остался здесь пруд. Белое живое зеркало его, царапнув одним краем низкий берег, засаженный избами, другим утянулось за Власьевскую гору с тремя сосенками на вершине. На эту гору, рассказывают, в незапамятные времена гонял пасти овец некий дед Власко; дед давным-давно помер, а имя его горе передалось.

От прежних времен сохранилась еще насыпная плотина, но и ее недавно сломали, деревянные сваи заменили железобетоном.

Снесли церквушку на взгорке против завода; она много лет стояла обезглавленная, и в ней был клуб.

На заводе сломали обе старые доменки, потому что завод переменил свой профиль, стал машиностроительным. Под фундаментом одной обнаружили свежую хвою и несгоревший навоз. Старик строитель объяснил любопытствующим: «Для крепости!» И впрямь — домны пропыхтели чуть ли не двести лет...

Максим, тепло попрощавшись с Маркиным и его товарищем, бродил по городу. Он узнавал и не узнавал его. Там, где раньше вкривь и вкось торчали избы, стояли теперь крепкие дома, чаще двух- и трехэтажные. Одну старую улочку на берегу сменил четкий строй розовых коттеджей. Миновав эти коттеджи, он вышел к пыльному пятачку городской площади.

Площадь эту Максим хорошо помнил. По одну сторону от нее протянулся сад, зеленая листва кучно налегала на железную ограду — днем сад постоянно был на замке, но не охранялся, и детдомовская ребятня прыга-

ла через эту ограду. На замке железные ворота были и сейчас.

По другую сторону от площади теснились вросшие в землю бывшие купеческие лабазы с зелеными ставнями на дверях и окнах. В одном был книжный магазин, в соседнем — универмаг. И тут же притулился киоск с пивной бочкой у раскрытых дверей. Максим обрадовался — было уже жарко и хотелось пить,— подошел, спросил кружку. Но оказалось, что отключили воду и мыть кружки нечем. Угадав в Максиме приезжего, толстая и, по-видимому, добрая продавщица посоветовала ему дойти до кафе: «Это здесь вот, через три домика... Новое кафе!»

Кафе, действительно, было новое, «модерн». Алюминиевые столики и креслица и, конечно, самообслуживание. Максим сел с кружкой ледяного пива в уголке — в кафе в этот час не было ни души — и с наслаждением отпил половину.

«Куда же теперь пойти?» — решал он. Посмотреть бы старый дом надо, где жил он с отцом и мамой. И в детдом зайти надо. А есть ли он? Давно уже Максим потерял все связи с ним. Может быть, закрыли... И не спросил даже у Маркина!

Странно, щемящее грустное чувство, которое испытывал Максим сейчас в Черемшанске, все время перебивалось впечатлением от встречи в вагоне. Чем-то Маркин зацепил его, или он или вместе они с тем парнем. Повеяло на Максима свежим ветерком... Живут, работают люди хорошо и дружно, и не без большой пользы, видимо. Завидно даже!

Максим допил пиво и вышел. Он шел по направлению к старому своему дому, усадьбе с конюшней и разными там пристройками. А за ними пустырь, где славно было ловить силками краснобрюхих жуланчиков...

Усадьбу он нашел. Она расположилась совсем неподалеку от второй заводской проходной. Стоял перед ним старый-престарый дом, припавший на правый угол, и, судя по всему, не жилой уже. Окна целы, но темные, без занавесок, резные наличники поломаны. Дом стоял, а пустыря уже не существовало. Придавил его фундамент строящегося здаиия. Над фундаментом иавясла стрела полусмоитироваииого башеиного крана.

Помещение детского дома на улице Кирова заслонили от прохожих буйно шедшие в рост и в обхват тополя, высаженные в палисаднике. Дом был одноэтажный, но очень высокий, громоздкий и весьма странной конструкции. Выложенный буквой «П», он выходил на улицу ие торцом, а одной из «иожек» буквы, так что вторая половиiа, скрытая к тому же тополиной листвой, была иезаметна и даже ие угадывалась.

Максим толкнул низкую калитку; поросший раиией, уже лохматой травой двор был пуст, и только одно окно было открыто. Во времеиа Максима двор был вечио полон суеты.

Нет, детдома здесь уже не было. Над первым крыльцом Максим увидел крупиую табличку «ЖКО завода», и над вторым такую же, только там было написаио «Дом приезжих». То есть гостиница.

А зачем ему гостиница? Максим тут же, после второй неудачи, решил уехать. К чему бередить душу? Не к чему, кстати, было и приезжать.

Но вместо того чтобы сейчас же уйти, Максим почти машинально поднялся по корявым ступеиькам крыльца и шагнул в полутемиый коридор гостиницы. Сердце его отчаянно колотилось.

Одна дверь в коридоре была приоткрыта. Он загляиул туда и увидел в глубине уютной, застланной пестрыми половиками комнаты, маленькую старушку с вязаиьем в

руках. Старушка, заслышав шаги, подняла голову в белом платке, сняла очки. Максим ахнул:

— Тетя Даша!

Да, это была тетя Даша, детдомовская кастелянша, женщина, от природы добрая, умевшая быть для ребят и няней, и строгим судьей, и защитой, если того требовали грозные обстоятельства...

— Крыжов я. Максим Крыжов, тетя Даша! Не узнаете? — Максим порывисто, сминая половики, шагнул к старушке.

— Узнала, милый, узнала! — бросив руки с вязаньем на колени, обрадованно пропела тетя Даша.

Максим, не давая ей встать, обнял, сжимая остренькие плечи, поцеловал куда-то в белый платок. У него было такое чувство, что он встретил родного человека.

— А узнать тебя не так-то легко! Ишь вон какой вымахал! — радовалась тетя Даша.— Пожалуй, и Сергей Сергеич пониже росточком был... Ну, садись-садись, рассказывай, каким ветром к нам, в гости, в командировку ли...

— В гости, в гости, тетя Даша!..

Максим и в самом деле чувствовал себя в эту минуту гостем, приехавшим в родной дом. Тетя Даша уже усердно хлопотала. Водрузила на плитку чайник, на крытый скатертью стол поставила чашки с блюдцами и сахарницу.

— Вот только на дежурстве я сейчас, так это плохо, а то б пельмешки с тобой сварганили!..

— А вы, что, одна, тетя Даша? А ребята где? — спросил Максим, оглядывая комнату: в ней, судя по всему, никто, кроме тети Даши, не жил. Но ведь она никогда не жила одна! Помнит Максим кучу ребятишек — и своих, и чужих,— возле тети Даши, безунывной, многодетной матери, неутомимой работницы.

Старушка беспечально хмыкнула, прикрыв ладошкой рот.

— Вспоминл чего! — и остановившись посреди комнаты с хлебиицей в руке, выпрямнлась гордо:

— Ба-альшне у меня уже ребята! Всех вырастила. И пристроила всех!

— Саия где?

— Александр в военном училище в Саратове, Петр техникум закончил. Марня тоже, н замуж вышла. А у тебя-то как, Максим? Выучнлся? Работаешь? Семья, подн, есть, детишки? Какой год-то тебе?

— Двадцать шесть.

— Времечко!

Максим подавнл вздох. Ничего из того, что предполагала старушка, у него не было... Не было семьи. Хотел отшутнться — ие получилось. Знал: тетя Даша спрашнвает серьезио, потому что душой болеет, и отвечать нужно серьезно.

— Выучнться выучился, тетя Даша. Техникум закончнл. В армнн отслужнл. Теперь работаю на заводе. А вот семьн иет.

Старушка присела за стол иапротнв, н, поджав губы, недоверчиво посмотрела иа Максима. Спроснла сурово:

— Не завел, или разжеия?

— Не завел, тетя Даша, ие успел!..

Разведенцев тетя Даша презирала. Былн, правда, у нее к тому осиования. Благоверный ее, пройдя всю войну без едниой царапнкн, уже по дороге домой зацепнлся где-то в украннском селе за солдатскую вдовушку... С ней и остался.

Навериое, в эту минуту тетя Даша сокрушеино подумала о ием.

А Максим подумал, что все равио, очевидио, тетя Даша осуждает его. Пора бы, коиечио, семьей обзаве-

стись. Вспомнив путаницу последних месяцев, только усмехнулся скрытно. Признался:

— По сердцу не нашел еще, тетя Даша!

— А ищи по сердцу, милый! Нето долгим век покажется! — с искренней заботой посоветовала старуха.

* * *

К вечеру Максим снова вышел на улицу, решив до поезда еще погулять по Черемшанску, а главное, поискать что-нибудь в подарок тете Даше. Хотелось сделать ей приятное, оставить память.

В универмаге на площади он выбрал дорогой платок «машинной вязки под ручную», как было написано на этикетке и, сунув сверток в карман пиджака, пошел дальше по Кировской. Шагал размашисто, обгоняя парочки, нарядно одетые, совсем как в его большом городе, и незаметно — сам не хотел! — оказался рядом с заводоуправлением.

Был уже восьмой час, в темных окнах двухэтажного здания желто отражался закат, и никого близко даже из охраны не было видно.

Раньше, помнил Максим, заводоуправление находилось на территории, а сейчас забор был снят и все вокруг было перепахано гусеницами бульдозеров и пудовыми скатами МАЗов. «Расширяются!» — подумал Максим. И вспомнил, что Маркин говорил о каком-то пусковом объекте. Посмотреть, что ли? Еще раз оглядевшись и никого не увидев, Максим пересек разъезженную дорогу и, миновав спаренный корпус, вышел на главный заводской проезд.

Самое удивительное было здесь — тишина. На своем большом заводе Максим привык к шуму и грохоту в любой час дня и ночи. А здесь было тихо. Казалось, близ-

кие темные вершины гор поглощают звуки... И, как и возле заводоуправления, не было видно людей.

Максим прошел по чистенькой дорожке, с обеих сторон заботливо обсаженной кустами, и никого не встретил. Остановился у миниатюрного фонтана, окруженного цветочными клумбами, подумал: «Курорт!..» И только сейчас в центре завода стал различать легкий шум работающих цехов. По знакомому, правда, чуть слышному уханью молотов определил кузнечно-прессовый и пошел в том направлении.

Кузнечно-прессовый цех разместился в низком, оштукатуренном снаружи корпусе. Максим заглянул в приоткрытую дверь и разочаровался. Стоит парочка «двухтонок» да еще несколько помельче и все. «Не те масштабы!..»

Но тут Максим заметил рядом еще один корпус, раза в три крупнее. Тоже кузня?

Миг — и Максим был там. Легко отворил железную дверь и вошел внутрь. То, что он увидел, поразило. В самое сердце поразило. Это был — даже на первый взгляд! — новейший, современнейший кузнечный цех. Не разочарованный, а очарованный теперь уже Максим шел по пустынному пролету и не мог глаз оторвать от этакой красоты.

Изящные, в яркие цвета выкрашенные молоты чехословацкой фирмы стояли, как на параде. Над головой — застывший мостовой кран стального цвета. В конце пролета затаился готовый к бою звероящер — мощный манипулятор... Неоновый свет лился откуда-то сверху и от стен.

— Эй, товарищ! — услышал он вдруг резкий оклик.— Вы что тут делаете?

Максим оглянулся и увидел, что из другого конца пролета к нему быстро идут двое. В одном из них узнал Маркина, и, широко улыбаясь, радуясь встрече и все еще очарованный увиденным, шагнул к нему.

Маркин как будто и не узнал его.
— Вы зачем здесь? Документы!
Максим подумал, что тот шутит. Нет. Глаза прищурены, злые. Весь напружинился, вот-вот за грудки возьмет. У второго с ним вид тоже воинственный. Максим сказал на всякий случай:
— Виктор, так это же я. Мы вместе сегодня...
— Документы!
Максим почувствовал, что и в нем закипает злоба. Ответил, не сдерживаясь:
— Какие тебе еще документы! А ты кто такой!
— Мы из группы народного контроля. Это — председатель группы.
Второй, маленький рыжеватый, указал на Маркина. И — Максиму:
— А что это у тебя в кармане?
Максим понял, что хлопцы настроены серьезно. Решив больше в спор не вступать, он подчинился. Сначала вынул из кармана шерстяной платок — подарок тете Даше,— развернул сверток, показал. Завернув и снова положив в карман, достал свой заводской пропуск, протянул Маркину.
Если на подарок тете Даше Маркин не реагировал никак, то вид пропуска на чужой завод не оставил его безучастным.
— Опыт перенимать приехал? — съязвил он. (Будто и не было вагонного разговора...)
— До сих пор к нам за этим самым ездили. Гора к Магомету...
— Хотя бы...
Маркин засмеялся:
— Ничего. Нынче Магомет в чести! Видал?
И он, гордясь, ткнул пальцем в соседний красавец молот. Потом сказал товарищу:

— Ты, Норкин, здесь оставайся, Ковалева жди, а я провожу этого... куда следует!

* * *

Гасла уже за каменным заводским забором, за тихим прудом алая вечерняя заря, а Максим и Маркин все сидели на скамейке у фонтанчика, окруженного цветочными клумбами, и разговаривали.

«Куда следует» Маркин задержанного так и не привел. Вышли из цеха, и Максим внушительно сказал:

— Ты эти штучки брось! Опоздаю на поезд, к тебе ночевать приду! Человека не видишь, что ли, цыган паршивый! Нужна мне твоя кузня, у меня от своей мозжечок болит!

— Чего так? — тоном, полным миролюбия, поинтересовался Маркин.— Или не нравится?

— Не нравится.

Вот так и разговорились. Давно бросивший курить Максим выкурил две болгарские сигареты кряду и откровенно поведал малознакомому Маркину о Голдобине, об истории с нормами, о Климове. Рассказал и о партбюро, на котором его не приняли. Умолчал только о «своих» женщинах — маленькой Зойке и красавице Станиславе. Пожалуй, это единственное, о чем умолчал, и только потому, что не к месту было бы, ни ко времени, а в принципе мог бы, настолько Маркин располагал к откровенности.

— Неславно там у вас получается,— резюмировал Маркин.— Не думал, что на таком заводе и... У нас тоже не сахар, конечно, но все-таки ничего обстановка. Нас прежний директор научил. Сейчас он больной... Ох и мудрый был мужик! Он и создал эту обстановку, уравновесил. Сейчас у нас больше половины командного состава —

молодежь. С директором новым ругаемся, спорим — и не без успеха! Вот пожил бы у нас, увидел. Слушай, а, слушай-ка!..

Маркин затеребил Максимов рукав. Максим поднял голову. Но Маркин тут же отпустил его. Задумался. Потом продолжал уже спокойно:

— Слушай! Ты сейчас, значит, на какой должности? Ни на какой. Мастером временно? А потом? Не знаешь. А если... если плюнуть тебе на всю эту канитель недостойную, а? Серьезно. У нас же... Пустим новый цех, старшим мастером пойдешь!

— Так ведь не этого я хочу, Виктор! — возразил Максим.— Не в этом...

— Подожди, подожди! — перебил Маркин.— Почему не в этом дело? И в этом! Ты уже не мальчик. Техникум закончил, специалист с опытом работы! Так чего ж они тебя, как мальчика!.. Ты уже зрелый работник и можешь делать больше, большую ответственность на себя взять. А раз можешь, значит, нужно. Иначе и уважать себя не стоит! Это, во-первых. А, во-вторых, здесь государственный интерес. Ты им, Максим, видать не нужен. А нам нужен. И позарез нужен. У нас специалистов не хватает. А завод растет, в люди выходим!.. В общем, подумай!..

Максим сидел молча. С кондачка он никогда ничего не решал, а в таких делах особенно. Сидел сейчас и молчал. Выкурили еще по сигарете, и Маркин предложил:

— Ты не уезжай сегодня. Завтра суббота, мы с ребятами на Черемшанку собираемся. Поедем? Переночуешь у меня.

Максим подумал и согласился:

— Поедем. А... переночевать у меня есть где, не беспокойся, пугал я тебя.

И, вспомнив стычку в цехе, от души расхохотался.

У него было отличное настроение.

XXIII

Все давно спали. Свет от костра падал на тугой бок ближайшей палатки, и только это белое пятно разряжало густую лесную темень.

Максим сидел у костра один. Неярко тлели в куче серого пепла березовые головешки. Время от времени он брал прут, ворошил угли: костерок взыграет, запламенеет конец прута, потухнет, и опять тихое мерцание в ночи.

За спинкой журчит, всплескивает на гладких валунах Черемшанка. Со спины холодно: Черемшанка — речушка горная, вода в ней студеная.

Умаявшись за день в лесу, уже сухом, летнем, хотя по календарю значилась еще весна, уморившись за сытным ужином из свежей ухи и прихваченных из дому запасов, все быстро уснули, а Максим не спал.

Кружилась голова от впечатлений сегодняшнего вечера: шумного, непритязательно дружеского и просто по-семейному уютного. Жена Маркина Евстолия — крупная такая уральская красавица, белые волосы уложены высоко венцом, а на щеках — милые ямочки,— сразу как бы взяла шефство над ним, и Маркин, глядя на нее, одобрительно улыбался. А маленькая Галка, жена Петра Ковалева, что ехал с Маркиным в вагоне, хотя тоже была очень мила с ним, но с мужа своего глаз почти не сводила.

Петр сегодня рассказывал, как он женился на Галке. Два года назад он вернулся из армии. Уходил женатым, а вернулся: жены-учительницы и след простыл. Не дождалась, вышла за другого и уехала совсем из Черемшанки. Петр горевал-горевал, пока не встретил Галку. До «встречи» этой год работали они в одной бригаде — станки рядом! — и не замечал, а тут вдруг заметил и влюбил-

ся. Рассказывал: «Прихожу как-то к ней домой,— на лыжные соревнования надо было ехать,— открываю дверь в избу, а там ребятишек полна горница, все Галкины братишки да племянники. «Галка! — кричу через весь этот детсад.— Бросай все, выходи за меня замуж! Свои будут!..» Шутки шутками, а так и вышло: поженились.

Да, другие женятся... Вчера в разговоре тетя Даша задела за живое, сегодня Петр подлил масла в огонь. Нескладно все-таки получается... Но ведь сердцу не прикажешь!

История эта со Станиславой несерьезная, конечно. Ну, увлекся, а месяц прошел, и забылось: с глаз долой — из сердца вон... Даже и стыдно немножко: пижонил-то как! В аэропорт приглашал, шоколадки к коньяку покупал... И чуть-чуть не женился было, зная, что не любит она...

А Зойка? Глупенькая еще, выдумывает все... У него же к ней просто как к человеку хорошее отношение.

И, глядя на затухающий костер, совсем один в эту ночь, раздумался Максим о своей жизни.

Не так складывается жизнь. Прав был Маркин вчера. Силы он в себе чувствует большие, а применения этим силам нет.

А если все сначала попробовать? Уйти с завода, перебраться сюда, как советует Маркин. Выход это? Правильно будет?

Крепко задумался Максим, сгорбился у костра. Долго сидел, пока занимающаяся зорька не смыла свет костра.

Поднялся, собрал сушняку поблизости, бросил в угли. Пламя вспыхнуло, разгорелся костер...

«Пожалуй, выход!» — решил Максим.

XXIV

Домой он ехал на том же поезде мимо тех же высоких гор, малахитово зеленеющих на полуденном солнце. Когда добрался, уже стемнело, квадраты окон на всех четырех этажах общежития желто светились, горел огонь и в комнате Максима.

Дверь с крючка открыл Сенька:

— Пр-ривет! А мы тебя еще не ждем!

В глубине комнаты на Сенькиной кровати сидела черненькая Маша в ситцевом халатике. Она смутилась, покраснела, но тут же, пересилив себя, открыто, с вызовом даже взглянула на Максима.

— Приехала?! — засмеялся он, сразу сообразив, в чем тут дело.

— Совсем приехала! — торопливо пояснил Сенька.— Ты знаешь, мы...

— Догадываюсь! — кивнул Максим.— Поздравляю!..

В этот вечер он ничего не сказал о своем решении: молодоженам вряд ли до него было. Сказал уже одному Сеньке на следующий день, когда написал заявление с просьбой об увольнении и передал его Климову. Сенька заспорил было, загорячился, но выслушав Максима, согласился:

— Правильно. Уезжай. Ну их!..

С Климовым во вторую встречу разговор был серьезнее.

— Не могу отпустить тебя, Крыжов!

— Не имеете права. Заявление подал, и через две недели уйду...

Случайно зашедший в эту минуту Голдобин попытался было отговаривать, но Максим и ему не поддался.

— Бабы мои будут жалеть,— вздохнул Голдобин.— Любят они тебя!

Через две недели, 18 июня 1962 года Максим Крыжов уезжал. Никто его не провожал: Сенька был на работе.

Уже в вагоне, сунув наверх чемоданы, он вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. Подумалось: доброе предзнаменование!..

И еще вспомнил, что когда-то он обещал этот день быть с Зойкой. Где она? На мгновение грустью захлестнуло сердце...

Поезд тронулся, и ему показалось, что в толпе провожающих мечется она в цветастом платье. Она?

Да! Но убедился в этом Максим только через долгое-долгое время, когда они снова встретились, чтобы не расставаться больше.

СОДЕРЖАНИЕ

■

Альберт Сергеевич Яковлев

КЕРЖАЧКА

Художник В. Жабский. Редактор Н. Куштум. Художественный редактор Я. Черникова. Технический редактор Л. Асс. Корректор Н. Рабинович.

*Сдано в набор 1/XII 1966 г.
Подписано в печать 24/III 1967 г.
Уч.-изд. л. 8,76. Бумага 70×108[1]/32. Усл.-печ. л. 8,93.
НС 11745. Тираж 30 000. Изд. № 745. Заказ 875.
Цена 44 коп.*

*Средне-Уральское Книжное Издательство,
Свердловск, ул. Малышева, 24.
Типография издательства «Уральский рабочий»,
Свердловск, проспект Ленина, 49.*

44 коп.

Средне-Уральское
Книжное
Издательство
Свердловск
1967